

4:00  
4:05

Нина Пипари

Из жизни безногих  
ласточек

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

# Нина Пипари

## Из жизни безногих ласточек

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51799073](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51799073)*

*SelfPub; 2020*

### Аннотация

Роман о дружбе, любви и взрослении в большом ночном городе. Саша – обычная девушка. В ее мире все понятно и просто, как и в ее семье. Однажды она спускается в ночной книжный магазин, где знакомится с Верой. Эта встреча переворачивает ее представления о себе и жизни вокруг. Их дружба длится полгода, но за это время Саша становится другим человеком. После того как Вера исчезает, Саша находит ее дневник, где ей открывается еще один, совершенно новый мир. Через пять лет Вера возвращается в город, и Саше предстоит проснуться и окончательно повзрослеть. Содержит нецензурную брань.

# Содержание

От автора	4
Посвящение	5
Часть 1. Стрижи прилетели	6
День первый	6
День второй	20
День третий	37
День четвертый	58
День пятый	63
День шестой	70
Большой выходной	76
Конец ознакомительного фрагмента.	96

# От автора

Это не вопрос меньшинств. Меньшинства – только средство выразительности, язык, код. Как научная фантастика. Научная фантастика никогда не говорит о науке или фантастике. Она говорит о людях.

От кого: от имени тех, кто в войне и мире полов чувствует себя «посторонним» и «идиотом» одновременно.

Кому: тем, кто оставляет самый глубокий след в душе. Будь то шрам или узор, или и то и другое.

Тем, кто учит видеть: как светятся завязи на деревьях весной накануне дождя. Как грязно на небе от звезд – живого места нет. Как снег поедает деревья. Вот этим, которых никто не видит.

И тем, кто все еще грезит своим собственным переустройством мира, хотя бы во сне.

Это не прокламация. Не руководство к действию. Это сочинение на вольную тему. Это книга. А книги не имеют ничего общего с инструкциями.

*Частное спасибо:*

*Игги, Янгу, китайским поэтам, южным поющим мужчинам и их кастрюльной перкуссии, и жанру босанова в целом.*

# Посвящение

Посвящается тебе и новой ветке метро нашего любимого города. Зеленой, как и положено.

Книга целиком выдуманная. Прототипы героев большей частью живы, но жизнь эта несчастливая. Первая и главная – превратилась в орангутанга, внутри и снаружи, так вышло.

Вторая умерла во сне, честно.

Еще одна спилась, медик, красавица. Остальные вроде устроились, вроде меня.

А сегодня пятница. Вечер майского дня. Верещат стрижи. Одинокие женщины закупают сласти. А я принимаюсь за последнюю редакцию.

*Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел.*

*(Екклесиаст 7:28)*

*Чтобы жизнь – как прогулка по саду...*

*В. Агафонов*

# Часть 1. Стрижи прилетели

## День первый

Она объявилась в Городе как ни в чем не бывало. Через пять лет Вера вернулась с красивой молодой женщиной. А я подумала: до чего же он сжался, город! И ничего не почувствовала.

А что можно почувствовать, если созвездие спустится на землю? Или хромой вдруг перестанет хромать. Или с тобой заговорит персонаж из книги. Прямо из книги – возьмет и заговорит, сложив губки трубочкой. Или уточкой. Можно только подумать что-то отвлеченное и фантазмагорическое, замерев.

Мы шли с ребятами на обед в соседний бар-кафе. Хихикали, был конец апреля, но уже очень тепло, хихикали все. Все было как всегда. И тут Саша – я то есть – видит Веру и переключается в режим «это не я, это не со мной». Верин режим.

Саша видит Веру и сразу, с затылка, который уже совсем другой, и все другое, кроме черной куртки поверх черной байки, узнает ее. Затылок поворачивается, поворачивается, и Саша прячется, уже не скрываясь, за что попало. И все-таки успеваешь подсесть и ухо острое, арлекинское, и холодный,

отстраненный взгляд, и руку с банальной сигаретой.

«Ха-ха-ха!» – смеется Саша, припав к спине приятеля. И коллеги дурачатся вместе с ней, ведь почти май и все дурачатся. «Если бы ты знала, сколько я книг, тобой запрещенных, прочитала, сколько своих историй у меня, какая я тощая теперь!» – все смеялась Саша, не отлипая от чужой спины. Коллеги думали, что у нее опять «смешной клин». А что, у нее бывает. Саша веселая!

Я так и не увидела ее лица. Увидела только профиль, и то вполглаза, из своего укрытия. Она чему-то улыбалась, вся в себе, и молодая женщина рядом смотрела на нее с большой теплотой, очень приятная. Они исчезли в обеденной сутолоке.

А мы остались в кафе.

Значит, ты нашла-таки «веселую и умную» попутчицу. Правда, эта скорее красивая и добрая. Но тоже сочетание на редкость.

– Эй! – новая коллега тронула меня за плечо, очень дружелюбно. Все дружелюбнее она. Или кажется? – Идешь?

Ребята решили выйти на террасу – ее только открыли, и там должно быть хорошо. И там было хорошо, хоть и прохладно. И тут я услышала: стрижи прилетели, и все небо в них. И пока мы возвращались, уже сытые и молчаливые, они все носились над нами. И на работе уже открыли окна, и там они тоже. И на балконе, где кричат и курят, тоже.

Так и прошел остаток дня. В оцепененном внимании стри-

жам.

Обида и все остальное догнало меня под ночь, когда я наконец, намотав круг пешком чуть ли не по кольцевой, пришла домой. По привычке собрав для нее, для Веры, кое-что по дороге: долго стояла у светофора, а машины, выстроившись в ряд, мигали левой фарой, как продажные женщины. Она любила эти маленькие истории – как открытки, как письма с картинками.

Так у нас было заведено, так Верой было заведено. «Ты еще спроси, почему нынче колбаса», – зло смеялась она, когда я в начале нашего знакомства пыталась поддержать small talk и поднимала темы погоды и социальных невзгод. Нужно было найти что-то *особенное* по дороге к ней. И она тоже встречала меня с чем-то особенным. И мы обменивались щедро, как старые индейцы на потлаче. Иначе какой смысл встречаться?

Теперь я тоже так считаю. Только теперь у меня друзей нет, а для приятелей сойдут погода и социальные невзгоды.

Я шла, и стрижи трещали отовсюду сразу, невидимо, оглушительно, эти северные цикады. Так хорошо было, и чистый воздух, острый такой, не давал вернуться домой. Там будешь совсем чужой – тюбикам в ванной, людям в сети, маме по телефону. И все-таки было очень страшно гулять по этому городу, который сразу стал чужим – и снова стал Вериним.

«*Мой лучший друг стриж*», – вертелось в голове, как бы в ответ моим приятелям, если они вдруг спросят, что со мной.

Каким-то другим приятелям, не тем, что спрашивают о погоде и моем меню, и моих планах на пятничный вечер. А я все равно шла и говорила себе: «*Мой лучший друг стриж*». Радостно представляя ее тем, другим приятелям. Гордо, трепетно. Не переставая ужасаться ее внезапному возвращению.

В остальном голова была пуста. Не спеша подворачивая к дому, с этой нетрезвой пустотой в голове, я долго шла за мужчиной невнятных лет. На широкой икре вздрагивала толстая татуировка, куда было напихано столько смыслов, что нельзя было разобрать ни одного. Разбирался только мат, которым он транслировал какому-то абоненту какую-то свою горечь. Я шла и не могла оторваться от него и от его икры, дрожавшей, как плечи рыдающего.

Погода испортилась, стрижи замолчали, и город мгновенно опустел и похорошел. Я шла в своей желтой куртке, такой же желтой, как все мои куртки последние пять лет, снова – маленькое солнце в дождливом городе.

Дома в голову чуть набилось, но чего-то неподобающего. Среди прочего: появились ли у Веры татуировки? Зачем-то: знает ли она устройство карбюратора, как знаю его я? И главное: что делать с ее дневником, который она мне оставила (ведь она же мне его оставила, да?).

Фоном летели картинки, то по одной, то внахлест, то «вне очереди» и «мне только спросить», они летят, а я смеюсь. Шумная комната надвигается на меня, я еще в темном кори-

доре, после сухого холода сентябрьской улицы лицо горит, и голос мамы, как софит: «А у Спаниэльчика подруга завелась!» Брезгливо и зло Вера, улица, тепло, туман, октябрь: «Ты что, собака, чтобы Спаниэлем тебя называть?» Ярко, желто, солнечно, Верин голос, шершавый, как шорох сухих листьев на асфальте. Город, ночь, мосты, пути, поезда. Верин книжный магазин в подвале, неоновый снаружи и внутри, открытый только ночью. Мой новый дом. Слякоть, ноябрь, мама в слезах, вдруг: «Ты не представляешь, каково это, стареть одной...» Ее боготворят в соцсетях, она всем нужна позарез: всем, кроме своих дочерей. Декабрь, начало, снег и босанова, ее смех и «ты мой кронпринц», и мои танцы, и раннее, темное, звенящее утро, которым я возвращаюсь от нее домой, от моего лучшего друга стрижа, и горестное молчание дома, поздним вечером, когда я снова собираюсь уходить к ней, и между вечером и утром наши прогулки по городу, совсем новому для меня, и диплом левой ногой. Декабрь, конец, бар со стрижами, где Веру подменили. Январь, февраль, «Вера, это из-за той девушки в баре?», «Малой, потанцуй для меня». Март. Все мерно катится к черту, посторонние, мотоциклы, крики. Диплом уже как спасительная соломинка. Последний день апреля, два слова о Лени. Первый день мая – замок на двери.

Ночь пришла и пошла себе не спеша. А сон не шел. А вдруг не она? Облегчения в этой мысли было не меньше, чем боли. Мало ли таких стало: стриженных, резких, в черных

байках под черными куртками, с белеными волосами. Молодых людей неявно женского пола. Я стала вспоминать, какой она мне показалась, когда махала рукой с сигаретой, держа по привычке рюкзак за кожаные хлястики. Махала, как только она махала, и не зря мама восхитилась ее жестам. И рюкзак так держала только она. Как зайца за уши, что раньше придавало ей сходство с егерем, холодным и деловым.

Теперь она была похожа на обычную горожанку, и, казалось, если подойти и засыпать вопросами и упреками, она отойдет в сторону и, щурясь (а она теперь без очков), спросит: «Мы знакомы? Нет, я не знаю никакой Лени. Что значит «это же я, безоблачный малой»?» И, как всегда, нельзя будет узнать, шутит она или нет.

\*\*\*

Я впервые услышала их, когда она ушла. В мае, пять лет назад. Я вообще никогда не обращала внимания на птиц: кто поет, как, когда и за кем. Общее впечатление было: весной все как-то оживляется, многоголосо и суетно. Летом птицы поют, как работают. И ты тоже работаешь и не слышишь их, разве что мельком, вбегая в метро. Осенью и зимой – только вороны (или грачи?). В школе, где я подрабатывала, когда мы познакомились, было зелено вокруг, и в открытые форточки часто доносился сухой, экзотический треск. Приятно было думать, что это сбжавший попугай обжился в яблонях и березах. Но мне сказали, это сороки.

Я не знала даже, как выглядят эти стрижи, птицы.

Вера стрижами называла тех самых молодых людей неявно женского пола. У нее была сложная система любви и ненависти к ним, и к птицам, и к людям, мне непонятная.

– Скоро стрижи прилетят, – был апрель, и вокруг все готовилось цвести, а Вера чахла. Они прилетели, а она отправилась искать счастья под другим солнцем, среди других птиц. У нее все было наоборот. Жила она под самой крышей, работала в подвале, лавируя между средним уровнем, занятым нормальными людьми. Спала, пока они работали, и продавала самой ненормальной их части, бодрствующей по ночам, книги. В бар ходила только в понедельник вечером, в свой единственный выходной.

О стрижах и других птицах, о людях как ветрах, о типах читателей (читатель-бухгалтер оценивает прочитанное количеством страниц, томов, разных единиц), о шахматах как об искусстве, о городе как человеке – она обо всем говорила по-своему, став для меня тем образовательным заведением, о котором мечтает всякий нормальный выпускник, уже хорошо постфактум.

Каждый год из этих пяти шел по одному сценарию: приходил май, прилетали стрижи – и я начинала наткаться на нее повсюду. Смешнее всего, когда я видела ее на работе – той серой работе, куда она наказала мне устроиться, – захмелев от монотонных человеко-часов. Выйду днем на балкон, постоять, поболтать, покурить, осмотреться с 12-го эта-

жа. Отвернусь на секунду от своих – и еще голосом с ними, а взгляд пополз, сонно, вниз по дорожному полотну, вдоль кирпичной стены длиной с маленький город, в самый центр узловатой тропинки, вглубь тени от какого-то дерева. И вот. Вот там она стоит, в полутени, в самом сердце промзоны, у путей, бредущих лениво под мост, наперерез другим путям, мостам и стенам длиной с маленький город, и так далее, до самого почти горизонта. Как всегда, с ног до головы в одежде, в черной байке, хотя так жарко здесь, наверху, на 12-м этаже, ужасно. И только крики коллег и чаек отрезвляют меня, отгоняя прошлое. Я смеюсь чьей-то шутке и понемногу возвращаюсь в себя.

Привет, Вера!

Так продолжалось до конца лета. Сентябрь успокаивал. Трудяга-сентябрь выводил на улицы толпы строгих, подтянутых, устремленных в новую, осмысленную жизнь. Уносились вверх небо, забирая с собой стрижей, и я тоже начинала новую жизнь, забывая про Веру и ее странный мир.

Но приходил май, и налетали стрижи, принося с собой грусть. Невесомые птички – неподъемную грусть.

Первый вертолет, таранящий еще зимние облака, первый мотоцикл, первые чайки, первый сосед, на балконе курящий, первая паутина перистых облаков на первом высоком небе, первый даже дождь, совершенно весенний, – все это можно было пережить, сжав собственно жизнь до мелких минут между работой и баром. Но не стрижей. Они прилетали – и

Вера начинала мелькать в самых неподходящих местах, в посторонних, совершенно непохожих на нее людях. Капюшонном, пальцами, бровью, смехом, голосом. По голосу скучаю больше всего, а смех не могу даже вспомнить.

Они прилетали, и на лето из «безоблачного малого» Саша превращалась в мрачную тучу. Наступал сентябрь – и антракт.

И так каждый год. Все слабее, все обыденнее. И в этот раз я была уверена, что все прошло. Но вместо занавеса пустили новый, внеплановый акт.

\*\*\*

Спать я так и не легла. Все казалось, можно кому-то сказать, кто поймет. И все оказывалось, что в моей жизни был только один такой человек, и им была Вера.

Ее дневник лежал передо мной и пах ее книжным магазином, но сам молчал, и все истории, бывшие в нем, все они молчали – пришла их хозяйка. До утра было далеко, и весь город со всеми шумами, стрижами и криками спал под пологом-смогом в звездах, только где-то несся поезд. И где-то вместе с остальными спала Вера. Спала ли?

Сколько раз я воображала эту встречу – Город был, конечно, не таким уж бескрайним, каким виделся ей: бесконечной постапокалиптической пустошью, где среди бела дня творится черт-те что и никому нет дела.

«Кому-то только дельтаплан может помочь, кому-то – го-

род, кого-то исправит лишь могила». Вера любила Город.

И хотя он действительно большой и разный у всех, рано или поздно все в нем встречаются. Подлость в том, что эти встречи происходят в самый неурочный час, в самых несуразных местах. Я знала об этом и готовилась все эти пять лет.

Воображаемая наша встреча происходила почему-то только по трем сценариям. В первом она жила где-то на периферии с самым серым персонажем из всех своих «встреч», парикмахершей. В этом сценарии Вера почти не изменилась. По вечерам (представлялось мне) они играют в го или в какой-то ее очередной мансарде лежат и ни о чем не думают, не смотрят сериалы, не читают бестселлеры. Просто – живут.

Мы сталкиваемся втроем где-то в метро, влажным вечером людного лета, и, сев в кафе, говорим, как бывшие одноклассники, и расходимся с облегчением. Главный недостаток этого сценария был в том, что все оказалось так просто.

Второй сценарий был более драматичным и приснился мне, когда она была еще тут. Все рассыпалось, мы все реже гуляли ночью, но я изредка оставалась у нее на ночь – и на ее топчане, в окружении книг и сувениров, и жвачек к ним, стала видеть сны, тем ярче, чем пустее становилась моя жизнь без нее. Чем решительнее отбирали у меня Веру ее любимые мосты, ночные перекрестки, неоновые вывески, их свет мертвецки одинокий, городские поймы в тумане по голову, окраины людные, как древний базар, – весь ее любимый Город, вдруг ставший таким чужим сегодня, навсегда

ее город, – тем больше я увлекалась снами. Не зная еще, что есть самый главный призрак – сильнее их всех, сильнее даже самого Города.

И вот один из тех снов со странным упорством возвращался, показывая Веру в будущем, почему-то с моей сестрой (наверное, потому, что с ее стороны тогда тоже сифонил злой ветер, который скоро и ее унес). Почему-то у них было одно будущее на двоих. И сон, слабо изменяясь, снился и снился.

Они вдвоем всегда были одинаковыми. Всегда в одном и том же месте. С Вериной мансарды сняли крышу, и теперь там всегда испанское исполинское солнце. Мало мебели и жарко. Эмма, моя сестра, в дезабилье, в креме, в шезлонге. Вера в себе. Она стала выше и раздалась вширь. «Наконец ты стала настоящей большой красивой женщиной. Не щипаным стрижом!» – то и дело восхищается Эмма с полосатого лежака, воняя кремом для загара на весь сон.

Я как будто там же. Вроде вишу портретом родственника на стене и безнаказанно, безвольно наблюдаю и нюхаю этот крем и жару. Вера подается к обрыву крыши и как бы подумывает, не прыгнуть ли. Но продолжает сидеть и смотреть в небо – плоское, как на картинах Рене Магритта, которого она так не любит. У нее лицо гладкое и отрешенное, как у жреца или евнуха. Эмма щебечет что-то неразборчивое. И мне хочется, чтобы Вера встала, подошла к ней и сбросила ее в пропасть вместе с лежаком, и прыгнула следом, – тогда все мы проснемся, а разобьется только эта странная, чужая

мне тоска. Но Вера сидит в своем небе.

Не про книги прочитанные, а про вот эти сны я бы ей рассказала. И про то, что все пошло под откос, когда она ушла. Что моя сестра Эмма сбежала из дома (в свои-то 25) на следующий день после ее исчезновения. Что я думала, они уехали вместе, я была немного не в себе. Но нет, совпало. Просто массивный удар судьбы. И хороший урок на будущее: если долго ничего не происходит, значит, судьба просто копит силы для удара.

Третий сценарий мне тоже приснился, недавно. Она и опять девушка. Будто они живут неподалеку. Их уважают и ставят всем в пример – за что? Оказывается, я знаю ее девушку через шестые руки. Она очень красива. Огромный город сжался до безобразия. Но я не вижу их. К чему эта красота? Прилипла как банный лист. Что пишут в сонниках на этот счет? Надо напиться и спросить у мамы. Может, с этого разговора начнется между нами эпоха искренности?

Я, наконец, встречаю ее, уже без девушки, в окружении гурий. Снова – прекрасных и преданных, обретших мир у ее ног.

Я бегу к ней и на бегу вспоминаю, что это сон. Я бегу и кричу: «Вера! Вера!» Я смеюсь на бегу, но, подбежав, молчу и дышу глубоко, чтобы не разреветься. Ее гурии сидят повсюду, но ничуть не мешают. Я подхожу ближе, и мы говорим, как бывало, как будто никого нет кроме нас, ни сейчас, ни потом.

Я зову ее на ночную прогулку, как раньше, но она разводит руками: мол, видишь, расселись тут, не могу. У них там своя вроде коммуна. И всем хорошо, и среди них опять моя сестра.

И мне не грустно! Я радуюсь за нее, за сестру. За маму. За всех по большому счету. Проснулась я от собственного смеха.

Я и теперь, вспоминая все это, смеюсь: какие глупые сценарии! И как правильно получить в наказание бессонницу. Смех накатывает волнами. Только успокоюсь – и вот опять. Я перемещаю лицо в подушку, чтобы не пугать кота. Обычная истерика.

Чтобы отвлечься, роюсь в своей сумке, не узнавая ее содержимое. Самоучитель по португальскому смотрится просто комично. Я так и не научилась разбирать текст наших любимых босановских песен, где мужчины по трое, по пятеро поют про «трестессе» и «саудаджи», подыгрывая себе на кастрюлях.

Но я помню пару названий, и сейчас эти песни звучат так же смешно, как тогда.

Смешно было и то, *как* я думала о ней: так писали в *тех* книгах и снимали в *тех* фильмах, которых все больше. Пошлые, одинаковые, скучные книги и фильмы про *молодых людей неявно женского пола*. Которых даже стрижами не назовешь. В кино их играют потасканные второсортные актрисы, которым не досталось ничего получше.

За пять лет в их полку нехило прибыло, и эксклюзивность Веры немного поблекла – невозможно отделить ее от всех этих слов и кадров. И вот теперь я думаю избитостями вроде *«вернулась с красивой девушкой, как ни в чем не бывало!»* и *«если бы ты знала, какая я тощая теперь»*. И при встрече, если ее не избежать, я буду говорить именно так.

Но что еще хуже, ее не отделить от всего того, что было в ее дневнике, где она совсем, совсем другая.

Я смеялась и смеялась, и сквозь слезы не могла уснуть. Уже начинали петь птицы: жаворонок, грачи. Воробей проснулся. Чайка. Встревоженная, как сирена, заладила одно и то же и улетела. Крик и пение слились в серый шум, убаюкивающий, как телевизор. И когда подал голос первый одинокий стриж, я уснула.

## День второй

Утро наступало энергично и сулило шумный день. Превосходный день для принятия здоровых решений, на которые у меня не было сил. Стрижи свистели уже совершенно по-рабочему, как никуда и не улетали. Вот и мне лучше поработать.

На пороге меня поймал звонок от мамы. Кто-то написал ей (но не из ее тысячи френдов) и спрашивал, как меня разыскать.

– Вроде бы не одноклассница, я их всех помню.

– А кто там на аватарке?

– Какая-то зверушка.

На скриншоте симпатичная морская выдра, любимое животное Веры. Я молчу и придерживаю сердце рукой. Пусть понимает, что все равно ему не выпрыгнуть.

– А, вот она пишет, – у мамы всегда все оперативно. – «Это ее бывшая коллега, у меня есть к Саше одно предложение по работе».

– Спасибо, мама. Ты всегда приносишь хорошие новости. Скажи, у тебя в сетях есть мои фотографии?

– Спашечка, что ты! Я помню твою аллергию на социальные сети и ничего не публикую!

– Извини.

Мама рассказывает еще пару историй, уже успевших слу-

читься с ней, хотя еще нет 11.

На работе работать было нельзя. Голова перенаселена вопросами: вдруг она вернулась уже давно? Завела в пику Лени или просто так какую-нибудь соцсеть, препирается в комментариях, входит в тысячу френдов моей мамы и того большую армию своего отца, с которым таки помирилась. Примкнула к какому-то политическому лагерю и живет полной социальной жизнью, в страшном сне забыв свое меланхолическое прошлое. А я, старая уже тетка, сижу тут и мучаюсь, гадая, как оправдаться при встрече за украденный дневник (преддипломное нервное истощение, уверенность, что она не вернется, тупое любопытство, желание оставить себе хоть что-то от нее)...

– Идешь на обед? – написал мне приятель. Оказалось, полдня ушло на поиск Вериных знакомых в соцсетях через мамин аккаунт (они даже клички не сменили за пять лет) и обыск их страниц – вдруг она где-то мелькнет. Один-одна из них сказал мне как-то, пока я дежурила за Веру в ее подземной лавке: «Да что ты сохнешь по ней?» А я не сохла. Но стриж не поверил и был раздосадован, что я «не иду с ней на контакт». А я не могла объяснить, что контакты в принципе меня не интересуют. Что звезда, указующая мне путь, оказалась падающим самолетом.

На обед я не пошла.

– Чего кислая такая? – написал приятель. Пол моего отдела обновилось, люди текли рекой. И он пришел сюда слыш-

ком недавно, чтобы знать, что «безоблачный малой» на лето уходит в запойную грусть.

Я долго думала, что ответить. Вдруг поймет? Но опять налетела Вера, и ее «что с тобой», такое искреннее, что даже если промолчать, станет легче.

И я все стерла, что писала ему.

Вторая половина дня ушла на мысли о знаках. О том, что если бы их замечать, жизнь была бы проще, нежнее. Есть люди, которые видят знаки везде (например, моя мама). Я их не вижу вообще, а если вижу, то вижу потом, когда они уже наследили.

Сон про гурий точно был знаком. Еще один знак был полгода назад, в декабре. Мама сказала бы, что то было знамение, мрачное, как затмение, зловещее, как черный аист. Мама любит драматизировать, но сейчас уже меньше.

Черного аиста она мне и напомнила – девушка, которая вдруг взяла слово на открытии какой-то выставки, куда умные коллеги притащили меня после работы. Это была какая-то сложная выставка, так что церемония открытия проходила в свободном формате: на условной сцене стоял микрофон, и посетителям предлагалось высказаться на вольную тему (об этом сообщала яркая надпись на растяжке). Публика большим кругом микрофон обходила. Я тоже. Вроде нас магнетически влекло к экспонатам. И тут, решительно, через весь зал, она двинула прямо к сцене.

Черное каре, тощая, мрачная, нос торчком, – мне сразу

еще сильнее захотелось домой, но она начала говорить, и я оказалась в старом поезде, с которого, казалось, давно сошла на твердый перрон.

Она развивала свою мысль – а поезд мчал меня по соседним рельсам, которые все круче забирали в совсем другую сторону, и там выступала совсем другая девушка – словами, которые я видела только на бумаге, перед неизвестными мне людьми, в незнакомых мне местах. Девушка, «словавшая Вере жизнь», как сказала бы моя мама. Девушка по кличке Лени.

Голова работала прекрасно: я видела, что это не она, что она моложе той, Вериней. Что она тощая – а та была «ладненькая, как дореволюционная балерина», и каре у той было «шоколадное», и носа костлявого не было. Но поезд несся вперед, и его было не остановить.

Его подгонял голос этой девушки, ее риторика, очень отдаленно, очень разбавленно напоминая бравурные речи Лени из дневника, которые я так люблю цитировать, когда выпью. Хотя эта несла обычную социальную околесницу, а Лени волновали вполне конкретные вещи, и обращалась она конкретно – к стридам:

*«Вам же все равно незачем жить, у вас нет цели».*

*«Насчет себя не волнуйтесь. Перед настоящим напором никто не устоит! Берите их, самим себе постылых, смелым приступом! Отказа не будет!»*

*«Вы невинны, на вас нет печати грехопадения. Про вас ни*

*слова в Библии. Вам создавать новый мир».*

*«Я тебя сразу раскусила, ты другая, тебе нужны мечта и цель одновременно».* Это она сказала про Веру. И попала в яблочко.

Я вышла оттуда, когда коллеги давно разбежались, и пошла домой пешком. И это от Веры: когда не знаешь, что делать, – иди. Стоял обыкновенный декабрь, самое начало, слякоть и ветер. «Город принадлежит мне в плохую погоду», – эту странную форму собственности я получила в наследство тоже от нее. Город – мой, когда на улице никого нет просто потому, что такая погода считается неподходящей для променадов или фуршетов у подъезда, или пикников. Хотя какие к черту пикники в декабре.

Вот в такой декабрь все и пошло под откос. Или позже? Я шла, и по холоду все казалось логичным, ясным и совершенно предсказуемым – но это сейчас, когда я знаю все вводные: Вера вернулась в Город через несколько лет после тяжелого личного перелома; мы случайно познакомились; моя бесхитростная натура («малой, ты же безоблачный!») взбодрила ее; ей показалось, что опасность миновала и можно остаться и вполне себе жить. Ошибка! Промучившись полгода, она исчезла погожим майским деньком, таким, которые вот-вот наступят. С пышным цветом и стрижами. «Урожайная пора школьниц, перезревших за партами нимфеток». «Проклятый май», в котором она познакомилась с Лени – тем самым личным переломом.

«Все логично, и меня толком не касается», – думала я. И все-таки почти через пять лет после этой логичной, толком не касающейся меня истории я шла по городу и не могла успокоиться.

Встреча с той ораторшей на выставке сильно расшатала меня. Поезд так и не остановился, и надо было что-то с этим делать.

Я старалась думать обо всей этой истории в ключе детектива в мягкой обложке, которые пишутся умельцем по дюжине в неделю. Но одно за другое: этот призрак Лени, эти сны, случайные встречи со стрижами, которым она представляла меня «мой кронпринц», – и я дала слабину. Самый первый вечер в городе, где ее уже не было, и другие, прежние вечера и ночи с разговорами, прогулками и танцами, и ее безумная бывшая, и ее странные знакомые – как зомби в плохом фильме ужасов, воспоминания повылезали из всех закоулков и двинулись на меня со всех сторон сразу.

Я долго держалась. Пять лет назад я один раз от корки до корки прочитала ее дневник и закрыла, поклявшись больше никогда не открывать. Но после сна с гуриями все опять расстроилось. Утром я пошла на работу, но сон не отпускал: мне казалось жизненно важным уточнить одну маленькую деталь, одну формулировку в ее дневнике. Ведь маленькое исключение не есть нарушение клятвы?

Я наврала и отпросилась. Дома, не раздеваясь, набросилась на него – и пяти лет как не бывало. До вечера было да-

леко, но я заранее забронировала себе небольшую компанию для похода в бар, зная, что одна не справлюсь. Хорошие, веселые, частью женатые ребята.

Когда они пришли, я была уже тоже хорошей и веселой, и пока они догоняли, я вдребезги напилась, не поясняя повода. К счастью, это не принято и не требуется теперь – повод. «*Я не могла оставаться дома, понимаешь?*» – громко мямлила я в ухо одному из них. Он понимал. Мы оба остались довольны. Я по обыкновению развеселилась, расхохоталась, вечер вышел чудесный. А с тем, понимающим, мы даже потом раздружились: стали ходить вместе на обед, покурить и по барам. Хотя он тоже был женат, но с женой не дружил, а просто жил.

Наутро я вдруг успокоилась. И подумала: раз уж я все равно его читаю, почему бы не делать это от конца к началу. Вроде отматывая время назад, чтобы в итоге вернуться в ту исходную точку, когда все только-только начиналось. Чтобы после всех страданий Вера приходила если не к счастью, то хотя бы к спокойствию. И нашей встречи как бы не произошло. Может, оно бы и к лучшему. И тогда стихи одного из ее любимых китайских поэтов оказались бы просто стихами:

*Я возвращаю вам в слезах ваш жемчуг чудный, —  
Жаль, мы не встретились до моего замужества.*

И я читала дневник и рассказывала кое-какие истории из него маме и своему приятелю, другим знакомым, изменяя имена и пол. И так, мало-помалу, к Новому году почти

успокоилась. Грусть разбивалась о простые, житейские комментарии тех, кто слушал эти истории. И истории уже казались довольно простыми. Немного драматизированными. С таким подростковым надрывом, который мог бы объяснить школьный психолог. И, пройдя привычный круг, как уставшие лошади на карусели, воспоминания улеглись и затихли.

Всеобщая предновогодняя суэта вернула меня к обычной жизни, я с удовольствием накупила подарков маме и ее бездомным, и сбежавшей сестре, которая уже по традиции прислала мне открытку, но в этот раз как бы невзначай, впервые за годы своих скитаний, указала обратный адрес. Посылку туда отправлять было хлопотно, и хороший кусок времени съелся.

Потом пришли новые проекты, мы с приятелем записались на новые курсы, появилась новая коллега. Жизнь потекла как ни в чем не бывало.

И вот – на тебе.

\*\*\*

– Мам? – вечером я пошла к маме, с ночевкой. Шел дождь, стрижи молчали весь день. Одни сороки трещали из мокрой листвы. И общий ритм падающих капель и стрекочущих сорок вгонял в ленивый сон. Вчерашний день казался нервным фильмом. Но я знала, что мой пустой дом не встретит меня ничем хорошим.

Лень, как наваждение, поразила весь город-герой, и в бар

никто не захотел со мной идти. Но мама была, как всегда, бодрa. Ее пирог не пах, он бросал вызов унынию. Ее ЗОЖ-часы то и дело звенели уведомлениями: в отличие от меня, мама вела активную социальную жизнь и была незаменима в целой куче благотворительных инициатив.

Мне хочется сказать ей, такой цельной и неуязвимой, хоть что-нибудь, но я не могу решиться.

*«Мама, от тебя сбежали муж и дочь, а ты занимаешься благотворительностью и очень вкусно печешь. Кстати, в Город вернулась Вера, так что на меня не накрывай, спасибо».*

*«Представляешь, Вера вернулась в Город, и я в плену у ностальгии, посмейся со мной».*

*«Меня опять тошнит, и мне стыдно, что это в такие годы».*

– Мам?

– М-м?

– Так, хотелось посмотреть в твои глаза.

– А-а!

Мама радостно возвращается к экрану, ей нужно договорить с каким-то чатом. От нее ушел муж, потом от нее ушла дочь. Как два колобка укатились. Вторая дочь (худшая, хоть и младшая) ничем ее не радует. А она занимается благотворительностью и много чем, и мне обычно стыдно думать об этом, но не сегодня.

Я иду по нашей старой квартире, где давно не живу, но

живут целых два призрака, как ни старается мама их не замечать.

– Мам, мне так стыдно! – я кричу из коридора, чтобы не забыть.

– За что-о? – кричит мама, и мы опять молчим, этого достаточно.

На балконе тихо. Шуршит дождь. Высокая, уже зеленая акация готова принять всю жару на себя. А по маминым знакам выходит, что лето будет жарким. Жарким оно было в тот год, когда исчезла Вера и сбежала Муся, моя сестра и мамина дочь.

Вера говорила: большое воспоминание, как красивая песня, начинается с маленького аккорда. Он брякнул и почти затих. Снова возник, снова затих. А потом вступает вся песня, резко и громко.

Мое большое воспоминание ахнуло по голове большим аккордеоном. Без всяких прелюдий. Под сенью высокой влажной акации.

В то лето город задушила жара, и все немного тронулись. Так что мы с мамой, сходя с ума каждая по своей утрате, ничуть не выделялись из толпы. Я изъездила окраины на тех редких автобусах, что соединяли город с пригородом. Иногда просто моталась по кольцевой – просила подвезти приятелей или маминых учеников, которые приезжали с других концов города. Своей машины у меня тогда и в помине не было, я садилась ко всем знакомым на хвост, неважно, ку-

да они ехали. К бабушке? Прекрасно! Было так жарко, что тему для разговора не нужно было искать никогда. Изредка ездила на такси, когда не хотелось говорить вообще. После этих поездок я более сочувственно смотрела на маминых мышек, которые жили и умирали в колесе на кухонном прилавке, поддерживая в маме веру в бессмертную жизнь или прорыв к сансаре. В зависимости от настроения.

Здесь, мне казалось, могли найти ее: и в газетах написали бы вскользь, что в придорожной чаще кукурузы ночью нашли тела двух девушек. Одна – темной масти, как Эмма, длинная. Вторая была за рулем и не имела прав. Обе всмятку. Мотоцикл отлетел так далеко, что даже не верилось. Никто не виноват, просто нельзя на такой скорости нестись и не разбиться. Такое решение было бы уместнее для нее и Лени. Двойное самоубийство как единственно возможное решение нерешаемого.

И хотя у Веры не было своего мотоцикла и пригородная романтика была ей совершенно чужда, я фантазировала без оглядки, все больше отдаляясь от мамы.

Даже эти редкие поездки на такси опустошали нашу казну. Но мама не спрашивала, куда уходят деньги, хотя жили мы весьма скромно. Обе репетиторствовали: она – дома, я выезжала к тупым от жары ученикам, чтобы обучить их французскому, который сама толком не знала. Что-то приходило от отца, но никто и не думал установить адрес отправителя. Он стал доброй феей, в чье существование никто не

верит, чьи подарки принимаются без лишних вопросов.

Трубы за кольцевой жарились, как невозмутимые индейские горы, даже окрашенные на индейский пестрый манер, и это успокаивало. Поля колосились, их убирали, но всегда это были ее, Верины, волосы, то резко остриженные, то небрежно отросшие, мягкие.

Сгребая листву в саду чужой бабушки, я слушала аудиокниги, мрачные рассказы и старинные стихи на английском. Сперва назло Вере (она хотела, чтобы я оставалась «безоблачным малым», вольтеровским простодушным), потом из любопытства. Но после Веры и ее дневника все истории, даже самые драматичные, напоминали текст с этикеток косметических средств. Они обещали тебе так много, а вместо этого вызывали аллергию или не имели никакого эффекта.

Глядя в глаза чужой бабушке, я говорила: понимаете, это моя первая настоящая потеря. Потеря не человека, а ориентира. С ней я узнала, что он вообще может быть, ориентир. И вот он исчез, как тропинка, стертая с лица земли злым дворником. А я изливаю душу чужой бабушке, потому что моя собственная мама, узнав, что «та моя подруга», у которой я проночевала пол-осени, полвесны и всю зиму, уехала, кажется, навсегда, сказала мне: «Ясно». Иногда я говорила чужой бабушке про жару и что, конечно, в деревне лучше, чем в городе. Эффект был примерно одинаковый. И я искала другие средства.

Пробовала пить – не вышло.

Пробовала больше спать – а сон ушел, совсем.

Пробовала есть – и не могла смотреть на еду.

Это было глупо и обидно. Из зеркала на меня смотрело лицо из тех, что в старости напоминают сморщенных младенцев, а внутри была полость, огромная и гулкая, как пустой храм, где давно разогнали хористов.

Я худела, и мама меня ела за это, но не слишком. Она сама не могла есть – от Муси еще не было никаких новостей. Я взяла еще больше учеников, и мы ушли в работу, страдая каждая в своем углу, стыдясь своей подавленности, на которую, как нам казалось, ни одна из нас не была способна.

Суеверная атеистка, мама вдруг вспомнила, что уныние – смертный грех. И ненавязчиво цитировала это как мантру. Мы сделали из борьбы с этим грехом состязание, и оно нас спасло.

Спадала жара, но спалось не лучше. Как-то ночью я получила короткий «привет» от сестры. И хоть мы и обменялись после этого десятками отборно матерных сообщений, я знала: худшее позади. Конечно, маме я все рассказала. «Только ни слова маме»? – обойдешься!

– Это ее выбор, – с этими словами мама взяла курс на поправку и сделала это очень заразительно: переоделась в яркие мексиканские юбки, пересела на велосипед, записалась на танго, стала печь (и есть) сложную выпечку, расширила круг знакомств еще больше и наконец, устроив из бывшей папиной дачи благотворительный приют, отдала ему

лучшую, энергичную часть себя.

Подобралась осень, год исполнился с того сентября, как мы с Верой познакомились. И я решила, что хватит и надо менять жизнь. Странно, но мне это удалось.

И вот вчера.

На стене в Мусиной комнате висит фотография, Мусей же снятая, где я – рыжий клоун, по виду только что лопнувший все шары, понуро веду хоровод. Фотография сделана вскоре после того вечера в декабре, в баре. Через пару дней я уволюсь из школы и всерьез задумаюсь о том, что дальше клоуном жить нельзя. Что жизнь – это не сценка с мамой в гостиной перед гостями.

К тому же времени относится первая и последняя запись в моем собственном дневнике. Вера тогда впервые забыла про меня. Тогда – в самом начале года, вскоре после той встречи в баре. Когда новогодний неон еще горел по всему городу. Я долго ждала у двери подвала, не решаясь ни отправить ей сообщение, ни достать ключ из тайника и тупо войти. Отморозила руки. А когда развернулась, чтобы идти домой, услышала крики и смех и пошла на звук. Толпа полумужчин-полуженщин, рядом кружат мотоциклы, ревет музыка, там же стоит Вера, развязная, как они. Хриплый смех, пьяная, курящая, в какой-то чужой косухе поверх байки. А я оттуда видела, как она несчастна. Но каждый раз, когда я ей говорила об этом, она сразу переводила все в шутку.

Потом, исчезая в ночи, она оставляла для меня записки.

Утешительно-ласкательные: *«Кронпринцы не плачут»*. Сухие: *«Я не знаю, когда вернусь»*. Пьяные: *«Малой, поторгуй за меня, потанцуй для меня!»* А тогда ничего не оставила.

Я вернулась к подвалу, достала ключ, вошла и улеглась на топчан. Когда она пришла, я уже спала. И вскоре она тоже уснула, упершись горячим лбом мне в спину. А я так и не смогла заснуть. Я знала, что все действительно пошло под откос. Что кронпринца, медленно и без почестей, уже хоронят в общей могиле.

Так что мне было абсолютно плевать, что Эмма отдаляется от мамы на всех парах. Она – в свою сторону, я – в свою. Все мои мысли были о том, чтобы повернуть время вспять и вернуться в исходную точку, когда все было так просто и легко.

Одну фразу из той записи помню дословно: *«И все-таки я никогда не была так счастлива – пускай все это иллюзия»*. Если бы я встретилась с собой пять лет назад, я бы сказала: знаешь, иди-ка лучше поработай над стилем. Но в том декабре мне было не до стиля.

Они стояли в темноте, полупрозрачной от слабого мороза, и самое главное я тогда не записала, не смогла. Прячась в тени голых каштанов, я видела, как Вере предложили проехаться на мотоцикле, кто-то махнул рукой. На нем уже восседала крупная девица, и Вера села за руль, совсем пьяная, взъерошенная. Она целовала эту бабищу, потом они умчались. Был очень мягкий, такой чистый и пахучий декабрь, не

тронутый в этих краях новогодней истерией.

Я лежала, глядя ее по волосам, с грустью наблюдая, как приходит утро, которое непременно потребует внести губительную ясность в происходящее; как подозрения, зревшие все это время, складываются в простую мозаику: та крикливая, крашенная, что выясняла с Верой отношения; те мужеподобные, их взгляды на меня; и в центре Вера – такой же стриж.

Мы никогда об этом не говорили. И потом не говорили. У нас были другие темы для разговоров. И не переводились. Ей было интересно все. Как устроен карбюратор? Сколько фунтов специй стоило убийство в средневековой Генуе? Почему стрижи поют позже грачей, а грачи – позже жаворонка, который поет, не дожидаясь рассвета, а соловей – вообще по ночам? И как можно заскучать, не узнав все это?

Почему же ты заскучала?

Дома были вопросы, главный из которых: вот я забросила и практику, и работу, учусь через пень-колоду, что дальше? Но это меня не беспокоило. Как не беспокоила Эмма, с которой тоже что-то творилось. Она тоже задавала вопросы: «Тебе не стыдно за маму?» Этот вопрос вскоре стал *ее* мантрой. С ней на устах она бросила маму меньше чем через полгода. За то, что мама была жеманной, фальшивой, поверхностной, плохой актрисой. Еще и бывшей. Бросила как раз тогда, когда я не могла поддержать ни одну из них.

Мама тихо подошла с пирогом на блюде. И сказала:

– Какая ты красивая, Саша.

И я пустила слезу. Но не потому, что мама сказала мне эти слова впервые в жизни.

## День третий

Я заночевала у мамы и, опять промаявшись бессонницей, утром постановила считать встречу с Верой уже не столько фильмом, сколько помехой на экране повседневности. Город все-таки очень большой. Может, она тут проездом. Может, это не она.

*Could she be the one I saw so long ago?*

*Could she be the one to take me home?*

Собирала для нее истории по дороге и опять видела женщин как погрешность вселенной, как какой-то странный, вымирающий вид. Будто фантики, в своих одежках и макияже, они спешат по делам. И вечером вернутся, потрепанные злым ветром повседневности. А утром опять...

Днем как-то перебилась работой. Работы опять было мало, как назло.

Мы могли бы сидеть в театре, где маленькие дети, как облачка, выплывают на сцену. Вместо этого я сижу в курилке с коллегами, смотрю на облака, не узнавая их. Куда они идут? Туда же идет верблюд с пачки «Кэмел». А я остаюсь сидеть, пока по пустой голове идет караван мыслей, надежд и сожалений, все сразу. Оазис остался позади, впереди одни миражи.

Эх, почему я тогда была одна? Почему – такая тощая и никакая? Большая грудь, ловкий начес и маленький иностранца-

нец под мышкой – я могла бы встретить ее в городе эффективно. Броситься наперерез: знай! У меня все сложилось!

– Ты не хочешь в тренажерный зал? – мой женатый приятель тоже любит задавать вопросы. Вполне конкретные, не про карбюратор и специи. Он уже окончил курсы китайского и росписи выходного дня. И всерьез думал о вегетарианстве.

Я рассмеялась. Представила: жарко, кругом озверевшие лица, «Раммштайн» на всю громкость. А тренер время от времени убегает в соседнюю каморку бросать зигу. Одна из самых смешных Вериных историй. Может, она и ее выдумала, чтобы подбодрить меня.

Приятель обиделся.

– Ну конечно, лучше заплывать жиром.

На нас обоих висела одежда, так что он тоже засмеялся.

– Да там нормально – я хожу по дорожке, слушаю музыку.

– Ты не поверишь, сколько я хожу пешком.

– И сколько же?

– С работы до дома. Почти каждый день.

– Ну, можешь руки покачать.

– Не хочешь на балконе покурить?

Мы курим, а они надрываются, стрижи. Я смотрю вниз, но там никого нет.

Мой приятель всем видом приглашает к беседе, но я не могу. Я думаю о наших коллегах, что качаются каждый день, но ни разу ни одной бабушке, навьюченной клунками, не предложили свой бицепс – хотя случай подворачивается

каждый день. Каждый раз, когда они поднимаются из метро в толпе стариков и старух, что спешат на свои дачи. Я думаю о Вере, не пропускавшей ни одной женщины с тяжелой сумкой, и даже если они шарахались и не давались, спешила к следующей как заведенная, не предупреждая и не объясняя. Потом просто догоняла меня, и мы шли дальше. Или бежали – если была ночь или раннее утро, и мы прогуливали ее работу, и на двери «Улисса» висели замок и табличка «Технический перерыв», и надо было спешить, а ей хотелось объехать как можно больше Города.

А если был выходной, понедельник, гуляли уже по-человечески. Почти медленно, в тех местах, где я никогда не была и где не было ничего знакомого, и даже реклама была другая.

Приятель предлагает угостить меня антидепрессантами, я отказываюсь, и мы оба смеемся. На балкон выходит новая коллега, потупив глаза, с подружкой. Но мы уже закончили. А завтра я опять распушу волосы и буду мотать ими как всамделишная девушка. Так-то.

Сев за свой рабочий стол, я опять смеюсь. Да так, что приятель делает мне большие глаза. Думает, я что-то употребляю втихаря. А я просто вспомнила: Лени-то тоже в городе.

\*\*\*

К вечеру я поняла, что никакая это не помеха и с этим как-то нужно жить. Опять ехать к маме было унижительно. Насчет моей мамы Вера была права в одном: она из поро-

ды вечных женщин. Что-то такое мне зло нашептывала Эмма: мол, они всех переживают, потому что все свои переживания несут на транспарантах. Я Эмму не слушала особо, но когда Вера заявила, что я похожа на мать, не слишком обрадовалась.

– Как тебе повезло! У тебя же характер, как у матери!

– Так тебе же она не нравится!

– Так мне же совсем другое не нравится, это разные вещи.

Думаю, теперь я немного понимаю, что она имела в виду.

Мама могла быть бальзамом (если она была в духе). Она могла в одно слово сбросить твоё настроение в пропасть. Она могла крушить всех вокруг, используя все средства выразительности, доступные актрисе любительского театра в отставке. Но она никогда не оставляла тебя в том состоянии, в котором ты пришел к ней.

После того как Эмма сбежала из дома, таких «целебных» состояний стало больше. Может, из духа противоречия.

– Спанечка, золотце! – в лучших состояниях мама говорила, как любимый диджей на радио: доверительно, дружески, почти задушевно и очень далеко от всего личного. И хотя я ничего не могла ей сказать о Вере, только у мамы я смогла наконец представить, что скажу Вере при встрече.

Я не выдержала – и уже сижу у нее.

А сказать мне хотелось все и сразу. И особенно – что за эти пять лет у меня была куча, просто тьма коротких связей. Что я прошлась по ее «каталогу», как немец-комбайнер по

созревшему полю, не пропустив ни одного колоска.

Но я так и не нашла куража завести их. А вчера распустила волосы и надела на работу майку с легким декольте. И столько раз туда заглянули коллеги обоих полов, что сегодня я в гольфе и похожу так какое-то время, хоть и жарко. Я даже улыбаться стала меньше. Мама твердит об этом часто, как о погоде:

– Спашечка, ты сегодня совсем кислая, зачем?

И по-прежнему просит объяснить необъяснимое.

Сегодня улыбка – это приглашение к себе домой, посмотреть фильм вдвоем. Вот что теперь улыбка. Но маме это трудно объяснить. В ответ на улыбку они смотрят, и так смотрят в холодильник, на старую еду, которую жалко выбросить и приходится есть. Потому что за новой лень идти.

Может, я могу рассказать маме про «каталог подходящих»?

## **КАТАЛОГ ПОДХОДЯЩИХ**

Нежные в оливковых ветровках с длинными запястьями оттуда. Черные волосы.

Долговязые внуки с моложавыми бабушками под ручку.

Азиатки с глазами-рыбками, когда они косятся в сторону.

Пустые здоровые хохотушки.

Лысеющие красотки.

Йогини с короткими накачанными ногами и крепкими, железобетонными улыбками.

Пухлощечкие, обожаемые подругами в соцсетях, с дразня-

щей дыркой между зубами.

Чеканные уши и мягкое лицо внутри.

Беременные: от таких будто заново рождаешься. И они так близки к конечной правде, что ни их не обманешь и сам не просчитаешься. Беда с ними одна: родив, они снова тонут в ерунде.

## **НЕПОДХОДЯЩИЕ**

Мясистые, упрятанные в тесное, темное, непрерывно за-саливающие волосы руками с ногтями. Лак облуплен, волос-ки черные и много.

Жилистые с мозолистыми сердцами и поношенной плоть-ю.

Дюймовочки с глазами убийцы и ранними морщинами.

Пострелята, короткие с головы до ног: стрижки, майки, шорты, ум.

Роковые с опущенными углами рта. Рот выдает с головой.

Выпускницы гуманитарных вузов, тем более аспирантки и выше.

И т. д. и т. п.

Она вручила мне этот список в апреле, уже вовсю востря лыжи из Города. С тем наигранным весельем, которое рань-ше отводила для посторонних и наскучивших.

– Держи!

– А что это? – я уже знаю, что значат эти «пункты», но хочу услышать ее объяснения.

– Так, набросала кое-что. Все равно же будешь подыски-

вать кого-то, так это вроде карты минного поля.

– Вера, – она думает, что я опять спрошу «почему ты совсем кислая, что случилось?», и обгоняет меня:

– Не глупи!

Но я хочу сказать совсем другое. Мне не нравятся девушки, мне вообще никто не нравится и не нравился никогда, младшие классы не в счет. Так вышло! Я пробежалась по списку там же, пока она возилась с покупателями, и поняла, что все кончается и, может быть, уже кончено. Что у нас никогда не будет бара для чистых сердцем, о котором мы когда-то мечтали.

Рассеянная, далекая. Она радовалась этим толпам полумужчин-полуженщин у себя в подвале, грубых, развязных сплетниц. И тут же переходила на один с ними язык. Я наткнулась на них в Городе, когда была с мамой, с приятелями или одна, и они смотрели по-свойски, нахально, иногда подмигивая. Позже писали. Одна написала: «Чего ты сохнешь по ней?» Дура.

Помнит ли мама эти встречи?

Мама смотрит очень понимающе. Иногда в ее присутствии, как от избытка кислорода, я начинаю пьянеть и пускаюсь откровенничать. Но не в этот раз. Я сказала только, что Эмма снова прислала открытку к майским праздникам и передавала ей привет.

– Хорошо, спасибо! – никаких уже «а почему тебе, а не мне?», «ты должна выяснить, откуда она шлет эти открыт-

ки», «такая же, как отец». Только «хорошо, спасибо». Мама молодец, все время растет. Однажды мы все помиримся, и я смогу всем им все рассказать. Мы сядем за круглый стол, и Муся и отец расскажут, почему они ушли, не прощаясь. Может, у них тоже есть дневник, и, чтобы ничего не объяснять, они просто дадут его нам с мамой почитать, по очереди. Ха-ха.

Когда Муся пропала, я думала, что у мамы будет срыв. Что никакого оптимизма не хватит, чтобы покрыть такую потерю. Мне было нечем поддержать ее: официально мы обе горевали о Мусе. Но свое главное горе я еще долго держала при себе.

Мама выстояла. Я ходила убитая, пряталась за городом и вдруг поняла: «А мама-то держится молодцом!» Вот тогда я впервые задумалась о теории Лени: в условиях большого города женщина – это маленькая энергоподстанция.

И мне вдруг полегчало. Я поняла, что Вере невозможно было оставаться в Городе. Я поняла, почему она не могла остаться здесь, где все напоминало ей о Лени, которая кишела большими идеями и красивыми мыслями, сама такая красивая и большая душой. Не из тех, кого упоминают в «каталогах типажей». Из тех, кого можно годами травить в сердце, но одна встреча в баре – и, как феникс, они снова во плоти, будто никуда не уходили.

Я была просто привязана к Вере, а она Лени любила. Не любя, человек, эгоистичное животное, не отдает никому

столько собственной жизни. Как в бразильской песне о любви, флейта парит, не касаясь основной, приземленной темы, это было чувство высшего порядка, высшей пробы.

Я поняла и пошла на поправку.

– Покажешь открытку? – не поворачиваясь, вся в хлопотах, в семейной чайной церемонии на двоих, спросила мама. – Если с собой, конечно.

Открытка со мной. Это просто фото, с Мусей на фоне южного пейзажа. В разговоре с мамой я говорю «Эмма». Мама так и не знает, как ненавистна ей была эта «Муся».

Мама смотрит на Мусю, комментируя исключительно пейзаж вокруг.

– А где это?

Мы вместе гуглим адрес на открытке. И я знаю, что вечер мама проведет в изучении всего, что связано с этим местом. Включая сегментацию по вероисповеданию и города-побратимы.

Я смеюсь: получив эту открытку, я по старой памяти подумала, что фотографировала Вера. Мама тоже смеется, но чему-то своему – ей так легче. Это у нас общая реакция, хотя многие обижаются, что мы смеемся тогда, когда нужно плакать.

Да, мы похожи характером, и в чем-то это большое везение.

\*\*\*

Выйдя от мамы, я достала открытку и еще раз рассмотрела сестру. Уже несколько лет она присылала мне открытки к праздникам и в каждой просила ничего не говорить маме. И я, конечно, говорила и передавала привет.

«Я наконец-то счастлива, – писала Эмма в своем первом письме ко мне, пару лет назад. – Мы же сестры, давай общаться!»

Счастлива – красавица, отличница в этой жизни, а там – официантка в городе, где крадут и убивают пачками что ни день. И все равно людей больше, чем в небольшой стране. Счастлива!

После своего первого «привет» она стала писать часто и подробно, как в старых письмах, не дожидаясь ответа. Не думая, что я скажу матери, как объясню, каково мне быть миротворцем между двух огней. Сколько сил уходит на поиск нужных, безопасных слов для обеих.

Я шла и злилась на себя и на сестру. Пора быть сильнее, решила я и свернула к подвалу, где Вера пять лет назад продавала книги. За все это время я не была тут ни разу. Ничего не изменилось.

Дождь давно кончился. Было поздно. Магазин уже открылся, и рядом никого не было. «Отчего бы не зайти?» – подумала я нарочно усложненной конструкцией, почти вслух сказала. И зашла. Там работал другой, похожий на Веру стриженый. Так же брякнул китайский колокольчик, так же бухтело радио, что-то латино-трясогузочное. Так же грохотал

трамвай в открытое окно.

Я немножко побродила по маленькому залу. И даже книги стоят там же. Как много я прочитала с тех пор, если бы ты знала! Мы бы вместе посмеялись! Даже твою Цветаеву ненавистную. А ее «Крысолов» мне очень понравился. Статный молодой человек – в красивых одеждах, играя на флейте, он вывел всех детей из города. Думаю, он просто провел для них за городом мастер-класс «Введение во взрослый мир». И они вернулись домой довольно скоро, только старше лет на двадцать. Так что да, дети не вернулись. Вернулись взрослые.

Я мельком рассмотрела, так и сяк, продавца. У Веры не было татуировок, ни одной, а этот стриж был забит под самые уши – и все равно худобой, настороженной позой, готовностью сорваться и бежать, беззащитным затылком они были так похожи, эти бесхозные питер-пэны. От ее «вам что-то подсказать?» я дернулась, как вор.

Вышла и поехала домой.

\*\*\*

Когда мы познакомились, стрижи уже не пели.

Само знакомство отпечаталось смутно, деталями, как яркий старый сон. Было полутемно, часов пять утра. Я не спала и думала обо всем подряд, обо всем сразу. И – о подарке маме на день рождения, который уже на носу. Вспомнилось, как Эмма с восторгом отзывалась о новом книжном магазине (одна станция метро, рукой подать). Две вещи ее

поразили: магазин был ночной и весь неоновый. То есть вообще весь: у входа висела яркая неоновая вывеска «Улисс», а внутри... Но это надо видеть.

Я помчалась туда, но ничего не купила.

Внутри не было ничего особенного. Разве что повсюду стояли неоновые светильники в виде разных фигурок, но половина не горела. Продавец, угловатая, коротко остриженная девушка в круглых очках, совершенно не пыталась мне помочь, и это меня сбило. Она как будто даже смеялась надо мной и моей затеей. Закатав рукава большой черной байки, она перебирала стопку книг и слушала мои вопросы весело, очень странно поправляя очки – двумя кистями, как-то ритуально и сложно. Глаз не оторвать. Я ушла ни с чем и домой возвращалась пешком, через незнакомый город, не встретив ни одного человека. И казалось, что дом остался там, в небольшом подвале, где смуглые жилистые руки перебирают стопки книг, а мимо проносится первый, еще совсем пустой трамвай и у кассы позвякивают монетки для сдачи и гелевые ручки в высоком стакане.

А ведь я не страдала бессонницами. Зачем меня понесло туда ни свет ни заря? Зачем я пошла с коллегами в этот новый бар, если до этого мы несколько лет обедали совсем в другом месте?

Запомнилась вторая встреча. Въелась целиком, со всеми подробностями. Как маленькое кино, которое я так любила, так люблю пересматривать, когда остаюсь одна.

Осень выдалась поздней. Давно был сентябрь, но светало по-летнему рано. Тишина, абсолютное отсутствие летних звуков – вот единственное, что не давало поддаться иллюзии и усомниться в честности календаря. И небо. Высокое, пустынное, совершенно безоблачное, оно безучастно парило над Городом, с каждым днем все больше отдаляясь от земли, отрешаясь от всего земного.

Ровно в семь утра из двери подвального магазина с неоновой, уже потухшей вывеской «Улисс» вышла узкая фигура в черном. Замок глухо лязгнул два раза. Фигура осталась стоять лицом к двери. Резко повернулась и, взбежав вверх по лестнице, зашагала по тротуару.

От дома, приютившего в своих недрах ночную книжную лавку «Улисс», начинался долгий спуск, вымощенный щербатой брусчаткой с поперечными выступами. Не частыми и не редкими, а как раз чтобы семенить и подпрыгивать и в конце концов вывихнуть ногу.

Перемахнув через несколько асфальтных полос, спуск круто сворачивал, но, не вписавшись, врезался в набережную и какое-то время петлял, приходя в себя, а потом выравнивал ход и, слившись с набережной, долго бежал вдоль реки и впадал в татуированную белилами велосипедную дорожку. Пока пустую.

Фигура в черном широким шагом – шаг/бордюр – спускалась к набережной. Дойдя до предпоследнего дома, до угла с цветочной вывеской, она отпрянула от выскочившей из дво-

ра машины, подняла с земли камень, постояла и, с камнем в руке, продолжила свой путь.

Из-за того же угла на мощный спуск вывернула невысокая девушка в ярко-желтой куртке. Девушка шла энергично, размахивая сумкой и на ходу стягивая тугую шапку, из-под которой высыпалась копна рыжих кудряшек. Заметив шагающую впереди фигуру, она замедлила шаг, остановилась, бросилась вперед. Догнав фигуру, она оступилась. Фигура тоже оступилась, но удержалась на ногах и успела подхватить рыжую.

– Почему вы все падаете?

– Привет! Кто мы?

– Неважно. Я спешу.

Обе остались стоять. Черная закурила, сбросила капюшон, под которым обнаружилась стриженная голова молодой девушки. Повернулась к рыжей.

– Ладно. Ты куда в такую рань? Опять кому-то подарок ищешь?

– Ха! Нет, на работу.

– А я – с работы.

– Понятно... Симпатичный камень!

Стриженная запустила камень в сторону реки. Камень не долетел и чуть не угодил в раннего велосипедиста. Он что-то закричал, но не стал тормозить. Стриженная затянулась, закашлялась, захохотала. Каркнул грач, с реки принесся ветер.

– Ох! Шапка-то тебе зачем? Жара такая!

– Ну, мама сказала надеть, у реки сыро.

– Ну да, мама...

Стриженная снова отвернулась к мосту и, не глядя на улыбающуюся ей девушку, спросила:

– Тогда, если мама не против, отвечай, как зовут?

– Саша.

– Вера.

– Приятно познакомиться!

– Симметрично. Тебе куда?

– Мне?.. Мне в школу, это через два поворота налево, а потом еще...

– Ага. А мне туда, – стриженная кивнула в сторону моста, но осталась стоять. Помолчав, добавила: – Вообще у нас неплохой выбор книг. Так что заходи, если не спишь по ночам.

– Да? Я, честно говоря, почти не читаю...

– Правда? – в ее голосе звучал восторг, а взгляд вдруг стал очень внимательным. – Ха! Так у нас много всего: и жвачки для школьников, и магнитики для мам. Открытки с каланами. Такие морские выдры, знаешь?

И, не дождавшись ответа, она развернулась:

– Ладно, чао!

Перепрыгнула через бордюры мостовой и исчезла за поворотом.

Саша нахлобучила шапку и, осторожно обернувшись пару раз, побрела в сторону школы, где она недавно начала под-

рабатывать, но уже сомневалась, стоит ли продолжать. И вышла пораньше, чтобы погулять и подумать. Но этот короткий разговор – и Саша развернулась, и дала крюк, и таки безбожно опоздала.

...Мое любимое место в этом маленьком кино. Они расходятся, а я остаюсь в тихом утреннем сентябре. Нет ветра, нет никого. И так хорошо там подумать, наконец, о важном.

Чем была моя жизнь до нее?

Детство – садик и школа. Клоун сборной КВН. Выпускной с посиделками у нас дома хорошей компанией одноклассниц и одноклассников. Мама спела. Никакой грусти – просто новый этап. Как говорится, больше они не виделись никогда.

В университете было поначалу весело, и за компанию с приятелями я училась неплохо, легко расставаясь с выученным сразу после сдачи экзамена. Эмма уже оканчивала университет, с нарастающей тошнотой, и как противоядие изучала взрослые танцы. Мусечка – для своих. Эмилия – для поединка с миром. Ее ухажеры навсегда, каждый на свой лад, оттяпали у Саши сестру. Хотя были ли они когда-нибудь близки?

Мама. Бывшая звезда очень любительского театра, очень эмоциональная, человек тысячи и одного настроения. Монологи из Шекспира и Чехова, сценки с тремя ведьмами на пустоши в кругу семьи – мама была неиссякаема, но ужасно боялась критики, поэтому далеко не пошла и звезд не поймала. И нигде, кроме «балагана», по выражению Муси, не ра-

ботала. Зато принимала всех людей со всеми их чудачествами, и только одного чудака не принимала – отца, поскольку никаких чудачеств у него не было. Он был обычным.

Папа гораздо младше матери и людей не понимал совсем. Когда к маме приходили гости (а они приходили всегда), он уходил к себе и занимался работой, которую непонятно за что любил. Муся любила посидеть в его комнате, а мне было с ним скучно и одиноко. И ей бы быть похожим на него, а не мне.

Служил он то бухгалтером, то экономистом. Отпуск проводил на даче с коллегами и вдруг собрался на юг. Мы проводили его всей семьей, он обещал сразу же написать. Но не написал и не позвонил. Оказалось – уехал на экзотические острова работать чуть ли не поваром. И с бухгалтерской точностью присылал нам деньги.

Мама, казалось, ничуть не расстроилась: «Наконец-то он будет счастлив!» Я немного скучала по нему, но не так долго, как мне бы хотелось. Жизнь продолжалась: мама по-прежнему декламировала монологи, гостей стало больше. Но сейчас я, оглядываясь, понимаю, что монологи мама выбирала уже другие. Никаких шекспировских комедий. В шутку она называла нас «три ведьмы на пустоши».

Муся уже работала в какой-то конторе, для галочки. Остальное время танцевала свои танцы, куда нас не звала. И помогала с домашними сценками маме только я. Но и мне нужно было куда-то податься – заканчивалась учеба в уни-

верситете.

На последнем курсе, чтобы не отставать от Муси и тоже помогать, устроилась в соседнюю школу: заменять, преподавать, перебирать бумаги, сочинять для самодеятельности.

А в остальном воспоминания были обрывочными, смазанными, словно я пролетела над собственной жизнью на самолете... И, так и не сделав посадки, продолжила наблюдать эту жизнь со стороны, без особого желания как-то нарушить ее размеренный, кем-то чужим распланированный ход.

Работа в школе. После прихода сюда что-то случилось с временем. Дни тянулись медленно, а недели летели: раз, два, три, четыре – вот и октябрь. И за всем этим про стриженую знакомую из книжного магазина я ни разу не вспомнила.

Как-то в пятницу, возвращаясь с пар и сильно сомневаясь в том, что моя жизнь мне нравится, я решила заглянуть в тот подвал, где вечность назад пыталась купить маме книгу. Это была наша третья встреча.

Все та же стриженная девушка в очках, Вера, только-только пришла, еще толком не разделась. Стояла у прилавка, в черной куртке поверх черной байки, и настраивала радио. Я давно выбрала книгу, но уйти не могла: по радио уже что-то бодро пели, и ритм был энергичный, как будто жизнь только начинается и все просто. Я стояла, куда-то уставившись. Может, на большой плакат с морскими выдрами. И она просто спросила:

– Ну, как там?

– Не хочу уходить.

– Так оставайся, – она как будто даже удивилась, что для меня это проблема. Даже не посмотрела на меня.

– Mam, я сегодня буду позже, – я позвонила маме тут же.

Мама не сопротивлялась:

– Я лягу пораньше, у нас уже все разошлись. Кстати, где там твоя сестра?

Я не знала.

– Эти взрослые дочери! – и, промурчав что-то по-французски, мама положила трубку. Она могла быть нервной, злой, ироничной, язвительной. Но тогда она была спокойной. И я спокойно осталась.

Так началась наша дружба.

В тот же вечер я узнала от самой себя, что не люблю собственную жизнь. Что специально набила ее занятиями, чтобы не думать. Утром – пары, после пар – подготовка к урокам под беседы гостей, коварно бесконечные, как лента Мебиуса. Или ковыряние постылого диплома. Бег на работу. Пара уроков с громкими детьми, с бубнежом чужих, заученных слов. Удушливая толкучка в транспорте, где нужно успеть еще что-то прочитать. До поздней ночи – бесконечное чаепитие с уже другими гостями. Если пары вечером – все наоборот. И день был похож на день, вечер – на вечер...

Я говорила, а по радио пели весело и многоголосо, даже когда там звучали «меланхолия» и другие очевидно пессимистичные слова, все равно было весело, и мой рассказ зву-

чал легко и почти занимательно, как светло-грустное кино.

Прослушав его, Вера сказала:

– В целом, можешь ковырять диплом здесь, если тебя все так достало. Кроме понедельника – понедельник выходной. А так – с десяти до шести утра мы открыты.

И по тому, как она это произнесла, я поняла, что так и будет.

\*\*\*

Когда мы познакомились, жизнь меня вполне устраивала и альтернатив ей я не то чтобы боялась – я просто не думала о том, что они могут появиться. Я знала, что мир полон ужасов и несправедливостей. Но в нашем доме казалось, что дальше интернета они не идут. У нас все было хорошо. Велись разговоры, кто-то занимался благотворительностью, мама сама организовывала сборы, иногда прямо у нас дома. И дальше все это переправлялось безымянным людям, чья жизнь никак нас (меня) не касалась.

Пожалуй, самым неприятным событием в моей жизни стал внезапный отъезд отца, но даже из этой по большому счету драмы мама не стала делать трагедии. Она нашла в этом много смешного, и так выходило, что никто не виноват и всем стало лучше. Поступок отца привел ее в восторг, поскольку она не ожидала от него таких эффектных эскапад.

Он присылал нам деньги, но мы бы и сами справились: Муся и я подрабатывали, мама репетиторствовала – обучала

каким-то подсобным полезным жизненным навыкам: поднимать настроение «на раз», говорить так, чтобы всем стало хорошо, наслаждаться общением, делать особенную зарядку, ставить на место, не становясь смертельными врагами...

Все были счастливы, но я познакомилась с Верой, и оказалось, что все не так. И что все имеет конец, даже я – во что до сих пор трудно поверить. Мои родители были из других городов. Их родители были частью в разводе (и жили своими новыми семьями), частью в могиле, так что смерти мы с Мусей не знали.

Но появилась Вера, идиллия треснула, запустилось время. И 22 года жизни потребовали отчета о проделанной работе, как сказали бы на моей скучной, серой работе.

И если для того отчета еще можно было что-то наковырять, то за эти пять лет мне нечем было отчитаться. Их просто не было. Не было громких политических дел, не было раскола в обществе, не было массовых предчувствий худшего и тайной надежды на апокалипсис. Такой, чтобы как корова слизала и больше не мучиться неопределенностью. Для всех было, а для меня – нет. Время опять остановилось. И утро было похоже на утро, вечер – на вечер. Тогда, пять лет назад, каждый день был личностью – а эти просто толпились у сцены.

## День четвертый

– Что-то ты кислая, – все коллеги уже известили меня об этом. Они не спрашивали, это была констатация факта, и скоро фраза стала новой шуткой.

Теплело. У всех открылось второе дыхание, пошли фестивали, выезды на природу, очереди в супермаркетах, новые дети. Коллеги массово записывались на курсы, а я отказалась. Где это все? Ничего не пропустить, не отстать. Простуду и отпуск я проводила на работе – только вперед. Как не бывало. Полный назад.

– Никакая она не кислая, – сказала новая коллега, улыбаясь открыто и долго, и пригласила всех сходить пообедать все в тот же бар. Ребята собирались, и мы с ней вышли покурить. Было пасмурно, и вместо стрижей налетели редкие ласточки. Выяснилось, что сегодня пятница, и я сказала, что боюсь пятниц.

– Почему?

Я вспомнила, как Вера не любила свой выходной понедельник, засмеялась, но тут же страх вернулся.

– Не люблю выходные, – мне захотелось, чтобы она понимала больше, чем другие. Но она промолчала. Может, она молчит так же, когда мужики с работы по пьяни начинают обнажать свои душевные раны таким вот хорошеньким деvушкам. Все такие сложные и непонятые. Или в лифте, в оче-

реди, на прогулке возмущенные рассказы о делах и коллегах, и начальстве, и таких больших, таких судьбоносных своих планах. И умные ремарки о политике. И никто из них не спросит: а что гложет тебя? Так что проще молча слушать эти одинаковые излияния с вечной улыбкой. И только задавать наводящие вопросы.

Я тоже не спрашиваю, что гложет ее. Она, они привыкли, что это никому не интересно. И даже если спросишь, ответят мелко и полушутя. Им никогда не встречался стриж, который умел задавать вопросы так, что твоя жизнь сразу становилась богатой и ценной, и особенной.

Мы обедали в том же баре и коротали время, предполагая, почему у меня нет аппетита.

– Я понял, Спаша в кого-то втрескалась! – сказал мой приятель. Рождалась новая будничная шутка, но я была не против.

Оглянувшись, я рассказала им одну из Вериных историй, изменив имена и пол. Про девочку-нервию, которая мечтала подняться на колокольню старинного собора. У нее была анорексия, и ее тупо сдуло.

– У них в городке просто не было «макдака», поэтому она была такая тощая, – пошутил мой приятель, и я посмеялась вместе со всеми.

Небо набрякло, собирался дождь. Темнело. Снова стаями ныряли стрижи, и их крики волновали, как последние минуты перед грозой. Длинными густыми водорослями трепе-

тали флаги у консерватории, скулили краны рядом. Я опять щедро собирала для Веры. Опять забыв, что это уже неактуально.

На вопросы, что и куда я сегодня, отшутилась. Куда я пойду? Зачем? А вдруг там, куда я пойду, она? Вдруг подойдет? Вдруг подойдет со своей девушкой? И еще этот дневник рядом лежит, живет.

После работы отказалась от мысли идти пешком. Знала, что книжный подвал сам бросится под ноги. Как стриж, подрежет из-за угла. И все равно вышла на остановку раньше и насобирала для нее, по привычке, всякой ерунды. Камнем отвесным, пенистым, проложил самолет рельсы. Прямо над головой, камнем, брошенным в чужой огород. Неприятно и невежливо.

Подумала: есть ветер, разгоняющий облака, как хищник. Есть ветер – овчар. Сегодня овчар. Облака редкие, ватными колбасками налипли на голубой небосвод, изобразив камуфляж. Небо в боевом духе сегодня. А я – нет, как всегда. Лени никогда не стала бы меня вербовать.

В городе виделось плохо, все казалось, вот-вот она выйдет, как всегда, внезапно из-за угла и сразу увидит, что я *собираю для нее*. И я почувствую себя преступницей.

Дома я села в свой «жучок» (небольшая компенсация за скучную серую работу) и выехала за город, где не было ни одного ее следа, и, как и пять лет назад, поездка проселочными магистралями сильно меня утешила.

Резко теплело. Только прошел дождь. Въехала в аллею цветущих каштанов. Как торты крутились, горя; как фонтаны, обдавали пеной; как гости на свадьбе, бросали пригоршни белоснежного риса. Как бедные дети, протягивали мороженое. Тетенька, купите. Черствая, проезжала мимо.

У реки сосны, и корни их – как шины огромных траков или щупальца подземного осьминога, с присосочками, и одним я чуть не сломала мизинец на разутой ноге. Уточки, рыбаки, потоки машин, спешащих на лоно природы. И оттого вернуться в город легко и по-хорошему одиноко. Гигантские супермаркеты, как форпосты на границе, стражи, поставленные охранять горожан от ужаса одиночества, особенно острого ночью, 24/7. Сколько раз мы бывали тут. Стала высматривать ее по привычке. Стемнело, и в превратном свете городских огней одна очень похожа была.

Пара привычек (просыпаться в три-четыре утра, гулять много и без разбора, находить леса в самом центре города, дуреть от кислорода в них, избегать властных женщин любого возраста, огрызаться до того, как захочется укусить, не курить дома и курить в принципе) – вот и все, что осталось кронпринцу в наследство. Не больше, чем после школы: пара строк из Пушкина, пара исторических анекдотов и «пифагоровы штаны на все стороны равны» (если школа, конечно, не составляла твой главный интерес).

И еще столбик коротких эсэмэсок. Сухих, как протокол, если не знать интонацию. Старомодный, единственный вещ-

ДОК ТОГО, ЧТО МЫ БЫЛИ.

## День пятый

Они начинали с трех утра, оказывается.

Жаворонок пел полной грудью, смело и последовательно. Стриж – робко. Стриж одинокий утренний звучит вопросительно, как космонавт, только-только вылезший из ракеты на чужой планете.

Настоящие звуки – только под утро, когда нет людей и машин, и газонокосильщиков. Из транспорта – только мотоциклы, не отличишь от сирен.

Незнакомая птица взяла одну ноту и педантично осталась на ней.

И да, пресловутые экзотические сороки.

И космонавт умолк, чтобы уверенно слиться с городским шумом днем. Не выделяясь на фоне машин и людей, и газонокосильщиков.

На балконе настоящие запахи травы. Светает. Надо спешить.

– Ты будешь моим кронпринцем, малой! – декабрь только начался, и наша дружба была в золотом веке. Пока в магазине никого не было, мы сидели рядом, и она обнимала меня рукой за плечо и признавалась в родственных чувствах.

– Я бы тебя усыновила, честное слово! – мы почти не пили, вместо этого я танцевала для нее под босанову. Брала пары книг в мягкой обложке и, расправив их, как веера, обма-

живалась с двух рук. Она смотрела очень серьезно и вдруг приходила в восторг («Я с двух рук так не выпью, как ты танцуешь!»). И опять называла меня маленьким кронпринцем и безоблачным малым.

Потом я выдыхалась, и мы придумывали смешные варианты нашего общего будущего, пока толстая женщина тугим, горячим голосом выводила на ломаном английском «I love you». Как-то у нас появлялся свой бар, куда мы пускали бы только тех, кто без задней мысли и может насладиться чистым искусством (вроде моих танцев). Она была бы идейным лидером вышибал. И все было бы красиво и просто.

Потом мы шли гулять, и те места, которые я исходила вдоль и поперек, идя в школу и домой, мы нарезали вкривь и вкось. Шли вдоль путей, куда мне запрещала соваться мама, когда начался университет и пришло время тусоваться в непонятных местах; по шпалам, на которые Вера и приятели ее детства ложились и считали вагоны, только не со стороны, а снизу, руку протяни.

Не так много лет разделяло нас, но Город, который она знала досконально, а я не знала совсем, лежал между нами, как пропасть.

Под мостом и мимо гаражей, где ютились наркоманы и таились маньяки, но в реальности собирались совсем другие люди. Изредка ее кто-то окликал, и она говорила «это мой кронпринц», обнимая меня за плечо. И мы шли дальше, и она подначивала меня:

– Почему твоей маме не нравится, чтобы ты сюда ходила? Актрисы же любят маргиналов? Они такие необычные!

Она отлично знала, что вопрос глупый, но говорить ей об этом я не стану. Уже одна ездила туда на велосипеде, днем, летом. Уже вслед выдавая ей все новые, развернутые ответы. Ну какая же она актриса? Просто яркая, энергичная женщина, выросшая в провинции. С багажом стереотипов и предубеждений против большого города. Может, Лени хотела бы для тебя именно такой судьбы? Именно этого испытания: полюбить женщину немолодую и жеманную. А если верить Мусе – завравшуюся в край, фальшивую вдоль и поперек.

Я отправила фото моста своей новой коллеге, рассчитывая на эмоциональную поддержку, и получила ее. В условиях большого города женщина – это маленькая подстанция: «Как красиво!» Она уже не спит: встала пораньше, чтобы стать красивой, как фантик. Хотя суббота же. Зачем?

С опаской спустилась в метро, где уже совсем начинались Верины владения.

Пять лет прошло, а в метро все те же афиши. Все такие же плакаты с рекламой пельменей и средств личной гигиены, которые мне так стыдно было видеть при Вере.

Но особенно – афиши. Эти длинные, на все раздвижные двери, афиши с несвежими актерами. Теперь только они еще старше. Счастье, что мама бросила это ремесло и не ее ужимки сводят все внутри от стыда. Не надо краснеть, воображая

только, как могли бы отозваться в ее адрес подростки и пузатые мужики, что ходят по трое, в черных куртках и синих джинсах, и спорят хрипло о каких-то вселенских проблемах. Хорошо было Саре Бернар: никто не считал ее неудачи, не ловил на горячем, не караулил ее позоры, не снимал исподтишка ее стареющую плоть. Трудно быть актрисой театра и кино в наши дни.

Счастье, что я бросила свое ремесло до того, как оно стало моим. Счастье, что послушала ее и устроилась на «скучную, серую работу», где тебе платят и не требуют взамен ничего противоестественного: например, карабкаться по карьерной лестнице. На оставшуюся энергию ты можешь подумать, куда тебе дальше идти и зачем. Можешь читать китайских поэтов. «И главное – не можешь никому навредить».

Я снова смотрю на афиши. Чем эти-то могут навредить? Теперь даже возрастной ценз ставят. Правда, непонятно, по какому принципу: 6+ на какого-то явно извращенца, к бабке не ходи.

Суббота. Куча времени, чтобы думать и вспоминать. Например, тот уличный фестиваль, где пели, плясали, кишели люди. Мы двигались в толстой колбасе горожан, ненадолго выбивались из нее, двигались дальше.

У огромной женщины, поющей босанову, мы стояли дольше всего. У Веры часто играло радио с такой музыкой. Ночь напролет по трое, по двое, соло и целыми хорами они распевали один и тот же набор песен с непременным «корасон».

В основном «Девочку из Ипанемы». И почему-то не приедалось.

– Для меня это символ вечности. Небольшая вселенная, где развлекаются, сочиняя вариации на пять песен. У них там вроде небольшого кафе, по очереди на маленькую сцену выходят трио мужчин и одинокие женщины. Поют. Те, кто в зале, уходят и умирают. Приходят новые. А они всё поют. И все счастливы, и ничего не происходит. К тому же я ни слова не понимаю из того, что они поют. Хотя... – она смеется.

– Что? – я тоже смеюсь.

Мы смеемся. Очень долго, очень просто. И такова магия ее смеха, что мне неважно, с чего мы начали. На секунду в памяти возник и опять исчез. Сухой, хриповатый.

– У них же в каждой песне «тристесса», «меланколия», «саудаджи», это же все грусть!

Огромная женщина пела и танцевала, но ее танец не навевал ничего грубого. В проигрышах она вся тряслась, неумемно, как стакан в поезде, и я, уже со второй бутылкой пива, смеялась в голос, прячась в Верино плечо. И там мы простояли до конца выступления. «Все как в жизни: женщина всегда одна, мужики существуют тройками, в одиночку им страшно».

Напоследок женщина затянула-таки что-то грустное, прижимая контрабасиста к своему вымени, его маленькая голова тряслась и была как бы третьей грудью. И песня была уже вовсе не грустная.

– Вот если бы все женщины были такие, всё было бы хорошо.

Когда мы шли мимо уличного театра, я даже не собиралась останавливаться. Мим, кривляясь, сам подошел ко мне и куда-то потащил. Вера схватила его за руку и громко сказала:

– Не трогай ее.

Он отпустил меня и, кривляясь, пошел дальше, а Вера ворчала:

– Дарят они нам свои ужимки, дармоеды.

– Почему ты так не любишь театр?

– Да потому что – в жизни, что ли, его не хватает? Я вообще много чего не люблю. Ты мне тоже не понравилась сначала!

Она улыбается, но глаза собранные. Солнце, чисто, октябрь. Ее голос так идет строгому осеннему городу. Ни грубого слова, ни уличных междометий, если только в шутку или за компанию с покупателями. Как монолог героя старого французского кино. Кругом румянец и мода на яркую одежду. Как осенние листья, мы шевелились в людской гуще. Я вижу нас в этом пестром ворохе: сверху – я, в желтом, сливаюсь с другими; Вера, в черной куртке поверх черной байки, – просто точка на ярком листе. Она предупреждает, что скоро зима.

А у самой руки всегда горячие, даже на холоде. «Малой, ты где так руки заморозил? Давай сюда». Растирает. Или

прячет в свою байку. Извечную черную байку. И, уткнувшись ей в плечо, так приятно вдыхать запах сигарет и самого вкусного порошка, каким стирают в секонд-хенде.

А как она поносила актрис и всю эту братию. И как вдруг улыбалась, когда я смеялась ее пародиям на мою маму. Как смеялась сама, редко и заразительно.

Что из этого осталось в ней? Что из тех дней и ночей она оставила в памяти?

## День шестой

Воскресенье вышло совсем другим.

Наконец выходные перестали спариваться в один непонятный ком. Такой ком теперь стоит у меня в горле, когда надо есть. Еда так остро стала ощущаться внутри.

«С годами люди начинают есть, чтобы забыться». Думаю, Вера была права, но я бы хотела вернуть свой аппетит. Завидую коту, который встал со мной, ест за обе щеки и опять ляжет спать и уснет. Ночью проснется и, курлыча, как голубь, разволнуется. И опять лежи, рассматривай потолок, слушай Город.

Я пошла в парк. В парке былолюдно. Выяснилось, что кто-то тоже здесь, мы встретились, покатались на аттракционах, я отказалась от мороженого, но пожевала ваты. Узнала: кто-то забеременел, кто-то разводится, кто-то сподличал, а другой молодец. Мы еще погуляли, посмотрели фильм в кинотеатре. Я пошла пешком домой.

У реки пауки сплели круглые паутины на каждом фонаре. И в их свете сидели в центре своих кружевных салфеток, демонстративно, как продажные женщины, пузатые пауки.

А вот женщины, голосующие в коротких юбках на дороге, – стоит ли их подбирать? Или их только смутит твоя остановка? Или их уже ничего не смутит? Но каждый ловец ждет свою жертву.

Ветер надувает паутины, и, кажется, медузы плывут в темном воздухе.

Ночью кот опять разволновался, закурлыкал.

«Пойду погуляю с ним», – подумала я. Погуляла, вернула его и вернулась в город. В это время уже не было людей, машин – единицы. Редкий велосипедист. В одном наушнике у меня бухтел «корасон», и фонари светили почти игриво.

Встретила толпу кричащих, под чем-то. Как средневековые плясуны, жертвы загадочной эпидемии, они кружились на манер дервишей. Но дервишам следующий день нипочем. Я уклонилась от их курса в тень. И уличная собака весело наблюдала за ними рядом со мной. Мы с ней потом прошлись немного, и она побежала по своим делам.

\*\*\*

Это был мой персональный коперниканский переворот.

Оказалось, можно было не спать ночью, гулять на рассвете, бросать университет, бросаться на помощь старушкам с тележкой, у них же покупать пучки укропа и первоцветов, не пользоваться социальными сетями, жить одной – простые откровения одно за другим поражали мое воображение. Можно было прийти в бар прямо днем и выпить коньяка. И пойти дальше, уже веселее.

Первое отрезвление наступило где-то месяц спустя, когда у нас снова собрались гости, и среди прочих (и позже всех) пришли красивая, огненно-рыжая женщина и моложа-

вый старик. Рыжая женщина была подружкой какой-то подружки моей матери, и весь вечер они переговаривались, обсуждая что-то не то чтобы горячо, но безостановочно. Мама сидела поближе к новенькой, чтобы ничего не упустить.

Я по привычке стояла в проеме: на подхвате и чтобы наблюдать всю картину, всех этих красивых, интересных людей, которые тогда мне еще нравились. Я сказала: коперниканский переворот, но все-таки он случился позже, а тогда мой мир еще стоял на местах довольно крепко.

Моложавый старик сидел наискосок от рыжей красавицы и красиво сдерживал свою ревность, которая возвращала его взгляд на ее покрасневшее и вдруг ставшее злым лицо. Я что-то упустила – мама уже демонстративно отвернулась от новенькой и очень зычно разговаривала попеременно то с Мусей, то со старым мужем, расспрашивала про выставки и лекции, я не вслушивалась.

Я, как всегда, уже опьянела от живого общества. От шума, от того, что планировала снова улизнуть к Вере ночью, когда все улягутся, и картинка плыла, и я была радостнее обычного.

Рыжая все пьянела и зло веселела. Они с подружкой громко хохотали, и по тому, как смущался старик, как твердело его лицо, казалось, что хохотали о нем. Но никто больше за столом не смущался. И вдруг стало тихо, и отчетливо донеслись слова подружки: «А что его дочь?» Рыжая красавица расправила лицо и как будто протрезвела: «Вера?» Ухмыльнулась:

«Ты же знаешь, какая она». Подруга подтвердила: «Да уж».

Мама, это Большое ухо, тут же подхватила слова, уточнила, не оборачиваясь: «У вас есть дочь?» Но старик отмахнулся: «Давно не живет со мной». Помолчав, добавил: «У нее своя жизнь». Причем слово «своя» он как-то странно подчеркнул.

Что-то впорхнуло в мамину голову, какая-то мысль оборвала бег ее быстрых мыслей, она всмотрелась в меня, ища подсказки. Но ситуация требовала от нее вернуть гостя в прежнее настроение, ведь в первую очередь она была хорошей хозяйкой. И, как хорошая хозяйка, мама перевела тему в другое русло.

Я ничего такого не подумала и не заподозрила тогда, хотя взгляды мамы были всегда неспроста. Я только знала, что рыжая красавица больше у нас не появится, поскольку не проявила нужного интереса к маминной персоне. Для ее мужа, что ли лектора, двери нашего дома были, судя по всему, открыты, «но он, совершенно очевидно, не отходит от нее ни на шаг» – вот и весь наш разговор между проводами гостей и укладыванием спать. Расспрашивать маму о не ставших дорогими гостях не полагалось. И мне нужно было как-то отпроситься к Вере, так что волновать маму было ни к чему.

А ведь этот человек прямо сейчас где-то устраивает выставки и читает лекции и не подозревает, что его дочь похоронила его в своем дневнике так убедительно. Или знает?

Я вчера спросила у мамы, помнит ли она ту пару. Мы си-

дели на нашей старой кухне, но она только сильно удивилась и слегка поджала губы. Она помнила их, но покончила с прошлой жизнью – так же, как покончила однажды с отцом.

Теперь популяция гостей сильно сократилась в пользу учеников. Мама лично переклеила кухню. И только новое поколение мышек напоминало о прежних днях. С поражениями мама боролась просто – она стирала всяческое напоминание о них. Или хотя бы меняла декорации.

Думаю, если бы мама узнала всю правду обо мне, о Вере и о Лени, в ее голове родилась бы какая-нибудь театральная ассоциация:

Саша – шут.

Вера – Гамлет (настоящий, переродившийся).

Лени – Офелия, взбунтовавшаяся против своей роли, утопившая других, включая Гамлета.

Только я – Саша – шут из какой-то другой драмы. Шут молодой и неопытный, которому бы повзрослеть и разучиться шутить. Или хотя бы не улыбаться постоянно. Но я улыбаюсь постоянно всю жизнь. Просто потому, что так ничего не нужно объяснять. Когда постоянно улыбаешься, от тебя сразу отстают. Можно молчать и думать о своем.

Мама как-то сказала, когда коперниканский переворот уже зашел далеко и я стала много задумываться:

– Что-то ты поникла, Спаша?

– А что я как шут?

– Шут – самая лучшая роль! Он все знает и не боится об

этом сказать. К тому же он может улыбаться – и никто ничего не подумает.

Я и об этом задумалась.

Я опять пошла гулять ночью. Но скоро вернулась. Ночь уже принадлежала другим людям, и Город враждебно караулил меня, подбрасывая пьяных, загульную молодежь, бешеных велосипедистов, злых собак. И соловей не пел, а вел собой репортаж, комментируя эти встречи.

Город уже не принадлежал Вере, его захватили те, кому он был дорог лишь как отблеск чужих мегаполисов, их майки «Нью-Йорк» били в глаза, как чужие духи на любимом человеке.

– Тебе знакомо это чувство? – спросил приятель. Я хотела ответить «нет», по привычке. Как говорила всем в ответ на вопросы о личной жизни. И вдруг вспомнила, как увидела цветы, которые Вера купила не мне. Чужую куртку на ней. Ее на мотоцикле с чужими девушками. Когда увидела имя Лени в ее дневнике. Дневник имени Лени.

– Можешь не отвечать, если не хочешь.

Он уже знает, что я из тех, кого даже простое «как дела?» ставит в тупик.

## Большой выходной

Вся следующая неделя на работе прошла в угаре, и я смогла отдохнуть от ЧП по имени Вера и ночью спать, а не бродяжничать по городу.

Шла финальная стадия огромного проекта, и все винтики крутились на пятой скорости. Май, начавшись холодно, быстро разогрелся, и кондиционер вымораживал все внутри, оставляя энергии ровно на свой участок конвейера. Я возвращалась домой на такси и, без снов, спала до будильника все пять дней. Время уходило и медлило. А потом срывалось, как те ночные средневековые плясуны.

В середине недели новая коллега опять искала со мной встречи тет-а-тет, но я только сделала лицо поженственнее и прошла мимо. Черт его знает, что ей чудится, что ей рассказали, чего она хочет. «Проклятое племя равнодушных».

И винтик опять вкрутился на место.

Но в пятницу вечером, когда все поехали отмечать запуск проекта, я снова испугалась и поехала со всеми. Возвращалась пешком, стрижи умолкали. По мере того, как темнело, обострились запахи, и к книжному подвалу я пришла совсем безвольная. Не зная зачем.

Ноги сами привели меня. Я стояла через дорогу в тени темного каштана. Неоновая вывеска «Улисс» была все та же, только одна буква дергалась. Где-то в глубине брякнул коло-

кольчик, на улицу поднялась из темноты парочка, без книг. Они о чем-то переговорили:

– Да ладно... хз... ха-ха.

– Бу-бу-бу.

Моложавый старик клеил хорошенькую умницу. Хозяин «Улисса» ничуть не изменился за пять лет.

Я закрыла глаза и зачем-то вспомнила, что до сих пор в контактах у меня числится V за номером, на который я звонила последний раз пять лет назад, и мне ответили «недоступен». И столбик эсэмэсок, которые я ни разу не перечитывала за все эти годы. И не стерла.

Снова брякнул колокольчик, но из темного проема никто не показался. И чем больше я всматривалась в этот проем, тем больше мне казалось, что там кто-то есть. Этот кто-то в черной байке и в круглых очках смотрит на меня и чего-то ждет.

Где-то очень глубоко и тихо лучшая версия меня требовала выступить на свет, громко поздороваться и уверенно сообщить фигуре в черной байке, что ее дневник нетронутый лежит у меня дома и в целости будет возвращен при следующей же встрече.

Но я тихо отступила в тень и повернула домой.

Новая коллега что-то прислала. Какой-то ретрофильм. Я не открыла сообщение. Как же ей скучно, должно быть, если она пытается подклеить такую безнадегу, как я. К черту будущее – какое настоящее может вас ждать, если эта безна-

дега никак не расстанется с прошлым? Если все свободное время она думает о том вечере под Новый год, когда все действительно пошло под откос.

\*\*\*

Мы пошли в бар, где они собирались. *Молодые люди неявно женского пола*, как шутя называла Вера своих странных гостей, которые заходили в подвал явно не за книгами, смотрели на меня понимающе и говорили с Верой на непонятном мне языке, полунамекками.

Это была моя идея – пойти туда. Мне хотелось оказаться на их территории, увидеть их в «естественной среде» и убедиться, что они не сделают Вере ничего дурного. И что я не дрогну, оказавшись с ними с глазу на глаз. Вере я врала о своих мотивах безбожно, такая была одержимость. Она считывала мои уловки, упорно отмахивалась, выдумывая предлоги, но под самый Новый год сказала: «Идем».

Мест не было, мы сели за барную стойку. Ее знакомые с откровенным любопытством разглядывали ее, меня, нас. Но Вера не обращала на них внимания. Она была уверена в себе и во всем, что происходило. Она пила сок, я заказала пиво. Мы обе посмеялись над тем, как меня развезет. Бармен (бармен/барменша – не разберешь) тоже смеялся, по-доброму.

Я вышла в туалет и уже в самом конце стойки заметила девушку с темным каре. Миловидная, спокойная, умная – такой она мне сразу показалась. Не больше. Чуть другая, чем

остальные. Она что-то писала в блокноте и что-то отвечала бармену. Барменше? Я была уже не слишком трезва – и мне тут стало нравиться. Взгляды не смущали меня. Кое-кого я встречала в книжном подвале, кто-то мне кивнул.

По пути назад я увидела Верин взгляд, направленный в мою сторону. Она меня не видела. Она смотрела куда-то позади меня. Я обернулась – и опять увидела девушку с каре. Она чуть раскраснелась, чуть оживленнее говорила с барменом. Когда я подошла к Вере, она выпила один за другим два шота. И заказала еще.

Оставшийся вечер она говорила с барменом-барменшей. Потом подтянулись другие, оттеснив Веру почти в конец стойки. Там становилось все громче и веселее. Кто-то ко мне подсел.

– Вы давно знакомы? – кивнув в ее сторону.

Я даже не успела ответить – из роя людей вырвалась Вера и, подскочив, очень весело и зло сказала, как тому миму:

– Эй, отстань от нее!

Схватив за руку, потащила к выходу:

– Все, пошли отсюда.

На улице мы молчали. Она быстро пожала мне руку, назвав меня Спашей – «Пока, Спаш», – чего никогда не делала. И очень прямо, несмотря всю выпитую водку, ушла. А я стояла и смотрела ей вслед, как ее догоняют стрижи из бара, как они исчезают в темноте. Но от пива была слишком пьяной, чтобы что-то понять и предпринять.

Наверное, это и было тем маленьким аккордом, спустившим с цепи всю песню, в которой все «тристессы» и «меланколии» звучали в положенном миноре.

На следующий день подвал был закрыт, и я поняла, что у меня нет никакой связи с ней, кроме этой подпольной книжной лавки. Даже телефон, с которого она писала мне СМС, принадлежал магазину. И если она решит никогда сюда не возвращаться, я ее не найду. Я даже не знаю, где она живет.

Тогда она вернулась. Она ли? Она проводила все свободное время в компании грузных, грубых, с охрипшими головами? Она целовала вульгарных девиц, приезжавших к ней в подвал, на глазах у покупателей, на глазах у меня, продающей им книги? Она разъезжала по городу на чужом мотоцикле, ночью, пьяная?

Десятки раз она отговаривала меня от моей затеи, и потом я на каждую отговорку придумывала десятки счастливых исходов, где я отказываюсь и этого вечера нет, и все дальше идет, как было.

«Они такие же», «Там то же самое, ничего нового», «Зачем тебе?», «Жадность фраера сгубила», «Умножая знание, убиваешь сон». Не сработало. Я настояла.

\*\*\*

Все-таки ответив что-то новой коллеге, я вернулась домой и легла спать. Во сне была Лени. Раньше она мне часто снилась, хотя кроме той мимолетной встречи в баре я никогда

ее не видела.

В моих снах она была высокой, стройной, строгой. Вера всегда была неподалеку. Чем-то средним между пажом и валетом. И за нее, вместо нее я любила высокую строгую Лени, одержимо, как в книгах. И просыпалась разбитая, чужая себе и всем. И, просыпаясь, снова думала о них, о ней, о Вере. О том, что же произошло и при чем тут я.

В этом сне они стояли с Верой на перроне. Вера куда-то уезжала, и Лени пришла ее проводить. Они стоят на перроне, в слабой тени ив. Пока ивы шевелят вокруг длинными пальцами. Пока теплый ветер приглушает шаги прохожих, так что те не шаркают, а как будто в тапочках войлочных шагают по ковру. Прохожих, что пришли помахать руками и наговорить банальностей. Я среди них.

А Лени с Верой стояли и говорили, как говорят между собой равные, далеко обогнавшие остальных. Как говорили мудрецы в «Игре в бисер» – одной из тех книг, которые я обещала Вере не читать. Обменивались наблюдениями – не словами, а какими-то шифрами, поэтическим кодом истины, заключенной в простоту. И в ветер. И в ивы.

Я смотрю на них, не замечая, как на меня навьючивают чужой багаж. Задыхаясь, проснулась. Огромная рыжая морда громко мурчала мне в лицо. Толстые лапы мяли грудь. Я встала и пошла на работу, где нужно было переделать кучу ерунды, а на все остальное просто не было времени.

\*\*\*

Утро. Суббота.

Мама встретила меня гантелями. По квартире носились высокие мужские голоса. Они пели вариацию на тему «Девочки из Ипанемы», подыгрывая себе на кастрюлях и маракасах (банках с гречкой?). На стене гостиной висело толстым маркером торжествующее: «Гантели + босанова!».

Мама кружила вокруг меня, время от времени подпевая «корасон», приглашая присоединиться к ее танцам. Я помыла руки и присоединилась. Трястись маме было нечем, но все равно выходило хорошо. Я даже сделала пару снимков, и мы выложили их в мамины соцсети.

Заскочил старый приятель семьи, и мама сообщила ему, не прекращая танцевать, что открыла идеальную музыку для наших сумрачных широт!

– Плюс, – мама сделала эффектную паузу, – под нее замечательно заниматься с гантелями. Как это никому это не пришло еще в голову?

– Вы могли бы преподавать! – мамин приятель был в искреннем восторге.

– Да! Это могла бы быть школа...

– Уверен, у вас бы получилось...

– Никакого железа, никакого грохота. Только солнечная музыка, только легкость! Тут и на пресс попадает, попробуй!

Приятель разделся до майки и, взяв вторую пару гантелей, стал неуклюже пробовать.

– Спашенька, как мы раньше жили без этой музыки?

Я пожимаю плечами. Маме совершенно ни к чему знать, что эти песни я могу спеть со всеми проигрышами. И как хорошо было ковырять постылый диплом и дремать под всех этих «жуанов-жильберту-жубинью» в Веринном подвале зимой пять лет назад.

\*\*\*

Новое воскресенье. Пришло и ушло. Вспомнились актрисы с афиш. Предложила маме поставить домашнюю сценку, но она посмотрела на меня так, как смотрел кот, когда я предлагала ему вместо корма сосиску. И это, значит, отсекала. Может, потому Вера выбрала меня: я знала горечь жизни в «культурно-отягощенной» семье, где все зыбко и то, что вчера обожествлялось, сегодня старо и моветон.

\*\*\*

В новый понедельник, под влиянием позитивного образа жизни мамы, я решила: хватит.

Утро выдалось славным. Май заканчивался и никуда не спешил. Опять опустилось почти до ноля. «Чему ты удивляешься?» – спросил мой технический приятель. Он ничему не удивляется и ждет больших катастроф.

Я встала рано. Раньше, чем запели стрижи. Горланили грачи. Горланили отрезвляюще.

«Почему стрижи поют позже грачей, а грачи – позже жа-

воронка, который поет, не дожидаясь рассвета, а соловей – вообще по ночам?» «Сколько фунтов специй стоило убийство в Генуе?» «Можно ли радоваться тому, в кого влюблен, попав с ним под холодный дождь? А после 25?» От ее вопросов жизнь включалась по-новому. От каждого.

Мне не было 25, и я никогда не любила. Сейчас мне давно за 25, и с тех пор я только узнала устройство карбюратора. И то, что Вера этому *кому-то* была рада не только в холодный дождь.

К черту! К черту стрижей и Геную! Буду думать о своих делах. О своей скучной, серой работе, где я никому не могу навредить.

Я трясусь гантелями в такт босанове, где вечно зрелые сангвиники не знают ни печали, ни воздыхания, поют о чем-то непонятном, но живом и радостном. Может, о видах с горы Корковаду. И я на пару минут снова – безоблачный малой. Беспечальный брошенный шут. Он может все. Может даже радостно подумать о работе, где сегодня будет серее обычного, но нескучно, точно! И иногда даже небесполезно.

Но заканчивается музыка, я выхожу за порог квартиры и уже думаю о другом. О Вере, об отце, о сестре – все они исчезли, не простившись.

О Лени, чьи идеи все-таки пустили корни в смешном шуте, который уже не такой смешной и даже устроился на стабильную работу. И никакая она не Офелия. Такие, как она, – призраки, толкающие культурно-отягощенных смертных в

пропасть губительных мыслей и поступков. А сами отходят от края и преспокойно занимаются другими вещами и другими людьми из других пьес.

Спускаясь по лестнице, вдыхая пятиэтажный след цветочного женского одеколона, думаю о женщинах – Лени завещала думать о них о каждой как о центре вселенной. Со мной много их работает, разных девушек и женщин, но мало кто тянет на центр вселенной. В основном они такие, какими их видела Вера. Чванливые, фальшивые, и даже те, кто как бы вышел из игры и одевается в стиле унисекс, бреет голову, матерится нарочитым басом и курит, и развивает всячески интеллект, те бабы самые гадкие, самые злостные театралки. На деле они мечтают, чтобы им дарили рассветы и закаты. Вот когда кричат стрижи, я даже говорю и думаю, как она, как Вера.

Но пока они не кричат, и я думаю о них лучше. О том, что они, каждая, просто пытаются урвать свой кусочек счастья – как моя новая коллега – того счастья, что дается только молодым. Методы у них обычные, но не всякому дано изобрести велосипед!

Я бегу к метро. Не потому, что опаздываю. Я просто очень люблю раннее утро. Может, потому, что таким ранним утром я познакомилась с Верой. Мы с ней дважды знакомились, и оба раза – рано утром. Утром все такое чистое.

Я смотрю вслед девушкам. Они встали затемно, чтобы успеть стать такими красивыми. Они в длинных пальто,

длинные волосы, ногти тоже длинные. Так красиво.

Так красиво, что уходит обида, уходят чужие идеи о женском рабстве. О том, что они лишь выполняют навязанную им роль. Но им так к лицу эта женственность. И моей новой коллеге. Этой приземленной Нетребке. Или только приземистой?

Румяная дворничиха согнала меня с тротуара метлой, как фантик, напевая. Запекшегося кирпича здание вдали. От чистоты я немного трогаюсь умом. От чистоты и голода. Чувствую себя молодым Гамсуном Кнутом. И все-таки я немного злюсь на Веру, но уже по-другому. Вот почему давным-давно предлагали изгонять поэтов из города. Ни сами не живут, ни другим не дают. Другие потом вот так, по дороге на свою стабильную работу, видят и слышат черт-те что.

Как ранним летом нарастает шум за окном, внизу. Бесвязный, как пустая радиоволна.

Как полно можно жить, страдая волнительной бессонницей. Как пусто от бессонницы безнадежной.

Как ранним утром другая женщина-художница достает холст и думает, кого бы изобразить. Некоторых можно звонить уже сейчас. Но их нужно поить кофе, приводить в порядок, настраивать. Не пойти ли поискать натуру вот так, наугад?

Это какая-то из Вериных «встреч» из дневника. Или я сама уже додумала?

Облака принялись кучерявиться какой-то крашеной блон-

динкой. Такая натура ей бы точно не подошла.

В метро привычная пара: молодой милиционер делится сердечными делами с немолодой контролершей, громко. Здесь никто никогда никого не стесняется.

Расхристанная седая женщина, шуба в пол нараспашку. Выше на голову толпу. Такие закаленные старухи в метро просто пролетом, пересадкой к Гималаям, и никогда не присаживаются. За спиной рюкзак размером с небольшого теленка. Наверное, Лени будет вот такой.

В вагоне молодая, стриженная, сдобная, листает смартфон, пакет с едой между ног, сидит напротив. Напомнила старую меня.

Серые куртки и воробьи на тропе от метро к остановке рабочего шаттла. Ярко-грязный супермаркет, один из тех самых форпостов на границе города, одиноко громок и весел, оглашает унылую украинную равнину песнями о Калифорнии, о превратностях любви, о прошлом Рождестве, когда все было так хорошо.

Коллега догоняет меня, хлопает по плечу, еще один. И я на время забываю об истории чужой любви, которая за чем-то возникла в моей жизни, сбила и скрылась без следа, как красивая ворованная машина, пять лет назад. А я вроде до сих пор стою на том же месте и смотрю ей вслед, пытаюсь понять, что это было и при чем тут я.

\*\*\*

На работе все посмотрели новое кино про *тех самых де-вушек*. Все смакуют подробности. Некоторые сходили два-жды, взяв с собой своих парней, чтобы их как-то воодуше-вить. Но и это не сработало. И они грустят об этом вслух, куря и никого не стесняясь. Парит.

Вдруг – ливень, бешенство, замазало стекла. Коллеги сра-зу пришибленные, спрятались по углам. И в офисе почти так же уютно, как у Веры в подвале. Где, возможно, бывали *те самые девушки*. И те самые подробности, пока меня не было. Но это неважно. Снова ясно.

В свежем воздухе из окон, в криках обсохших стрижей проходит вторая половина дня. Чайки, как грибы, облепили крышу ангара далеко внизу. И снова вечер.

Изредка сирены скорой помощи увозят кого-то подальше от ворот и святого Петра с ключами. Или от геенны огнен-ной. Вот так и должны звучать настоящие сирены – оглуши-тельно тревожно, чтобы никто не поддался их чарам.

Дома трепещут синички на балконе, но моему коту невдо-мек, что с ними делать. Он бы тоже не впечатлился *тем са-мым кино*.

Май подошел к концу, но ничего не происходило. Мы с приятелем открыли сезон баров и ни в чем себе не отказы-вали. Ему совсем нечем было заняться. Очередные курсы по чему-то закончились, и он не мог решить, наскучило ему и начать новые или продолжить эти. А дома его никто не ждал, кроме сериалов и пары сайтов для знакомств и фривольно-

стей. Была жена, но она не ждала его.

После работы мы по очереди приглашаем друг друга прогуляться, зная, что прогулка наша всегда найдет себе причал. Даже удивительно: такой молодой, симпатичный, обаятельный, почти не ноющий (что вообще уникально) – и ни малейшего смысла в жизни.

Мы ходили в бары намеренно полуднее, побольше, погромче, как мегаполисы против провинций, где так легко застряться.

Крошечные бары, в подвалах, кирпичные, уютные, с нишами, они остались для Веры. Только она знала всю их карту. Знала людей в них, с которыми необязательно было здороваться, но всегда было о чем поболтать. Знала крупных спортсменов, которые почему-то ходили в женский туалет. В одном из них мы встретили девушку с коротким каре.

В этот раз мы все-таки сели в полупустом, полутихом месте, где в углу кто-то стонал какой-то рок-романс, но негромко. Какой-то ковбойский. Было очень тепло, и, выбравшись покурить, я все еще слышала отголоски губной гармошки. И видела, как Вера, жилистая, где-то в Америке, ближе к Канаде, кони, упряжь, кожа сухая и тонкая. Ее морщины горькие вдоль рта. Кожаная куртка на черной байке, красивое ухо торчит из чуть подросших волос, таких соломенных, как спелая рожь вокруг города жарким летом.

– А лето будет жарким, у мамы приметы, – удивительно, как легко кричится, если немного выпить. Но мой приятель

не слышит. Алкоголь увел его своими тропами, и он расстраивается, что поют Элтона Джона:

– Как же достали эти пидорасы!

– Да ладно, хорошая же песня!

Дело не в них. Жена разводится с ним, без особых причин. Момент располагал к рассказу о Вере, но я даже начать не могла, очень уж глупо выходило, особенно на фоне сэра Элтона.

Завтра же я все рассказала своему приятелю, и он совсем не удивился. Он всегда был готов к худшему.

\*\*\*

Пронеслась еще неделя. Сон сбился. Даже удивительно, как я могла ночами не спать у Веры и утром вполне бодро сидеть на парах или что-то даже преподавать. Прерогатива юности. Сейчас работа, совсем же не пыльная, отнимает столько сил, что хватило бы поле вспахать.

Машина пылится во дворе. Маленький «жучок», который я так и не смогла полюбить: за порчу воздуха, за нацистское прошлое. Каждый поход на работу (именно поход) приносит большие порции адреналина. Что ж вас развелось-то столько, стриженных? К счастью, многие красятся в синий и розовый, но даже они напоминают мне Веру.

В свободное время читаю ее старые эсэмэски, надеясь хоть там отыскать ключ и хоть что-то понять. «Продавай, но сама не читай!», «Потанцуешь для старика сегодня?», «Как

тебя нет, так налетают. Оберег, что ли?»

Снова пришли выходные, субботу я проторчала у мамы, она (действительно как оберег) отгоняла от меня дурные мысли. И за музыкой, за животворящими танго и босановой не слышно было стрижей. Вере танго не нравилось: «Это же спаривание под музыку».

Воскресенье я провела дома. Воскресенье у нас было святым днем. По воскресеньям у меня не было уроков, не было других занятий, кроме как прийти к ней с открытием книжной лавки и, лежа на ее топчане, ни о чем не думать или читать что-то невинное (с ее точки зрения, романы в мягкой обложке куда невиннее Юлиуса Эволы).

А еще смеяться. «Она такая мрачная, твоя подруга, – говорила мама. – Точно Рыба или Рак. Когда у нее день рождения?» А меня никто так больше не смешил. И я не знала, когда у нее день рождения. Так и не спросила, боясь показаться обычной.

В понедельник начался июнь. На вишне, что вчера цвела, уже зеленые бусины. Стрижи с остервенением носятся над улицами. Начался гон поездов. С ревом они грохочут по ночам, не давая спать.

И только к первым троллейбусам, которые уныло отгоняют их, как нечисть, гон прекращается до следующей ночи. «Лучше ползать полезным троллейбусом, чем летать сонной мухой».

Пролетела еще неделя. Наметился корпоратив. Шел

дождь, и все давно поехали на торжественную часть. И я тоже, но по пути сделала небольшой финт и пошла в Сад. Платонический сад, называла его Вера. «Представляешь его ночью?!» — это была ее последняя эсэмэска, в апреле. Я к тому моменту уже много мест представляла ночью благодаря ей, но не Сад.

Пока он был закрыт на зиму, мы только пробегали мимо. И из-за старой ограды, вечнозеленые и уже давно опавшие, тянули ветки дерева. И ближе к весне, опять готовясь к новому рождению, деревья отравляли город густым тяжелым ароматом. Ночью они пахли оглушительно.

Когда он открылся, мы тоже ходили мимо: в понедельник, когда у Веры был выходной, сад не работал. А в другие дни, пока он цвел и пах, она спала, вернувшись домой после ночной работы. «А пойдем в Платонический?» — первая за долгое время эсэмэска была как праздник, как поездка в санаторий. Вера, сонная, веселая и злая, ждала меня у входа. И уже внутри, у приодевшихся уже яблонь, или у зеленеющих лиственниц, или у пруда с чертовыми лебедями, вручила мне тот список «на черный день». Может быть, она хотела красиво обставить наше прощание. Кто знает?

Я ходила в него одна. Казалось, если она и напишет, то только пока я здесь. И каждая редкая эсэмэска (кто сейчас пишет СМС?) встряхивала, как прикосновение в публичном месте.

Я ходила в него все реже. Чтобы зажило. Я перестала в

него ходить.

За пару лет, что меня здесь не было, он ничуть не изменился. Под дождем есть мороженое было особенно вкусно, хотя под руку мужчина жаловался своей женщине на дороговизну билета за вход. Зато их ребенок тоже знал толк в мороженом под дождем. А если в него подлить коньяк, гулять особенно хорошо. Хвоя в паутине и хвоя, похожая на паутину. Ель ниагарская, ель с ладошками. Яблони пахнут, кто кого. Плющи ведут захватнические войны.

На корпоратив я поехала уже «хорошей».

\*\*\*

– Так чего же ты хотела от нее? Чтобы она тебя полюбила?

– Да нет, что ты... Просто...

Мой приятель уже тоже был «хорошим», поэтому мы быстро перешли на личное. Он хотел, чтобы я ответила здесь и сейчас. Он считал, что из-за этих колебаний среднего класса все так плохо: они ничего не хотят, но они боятся все потерять. И в промежутке между нежеланным всем и устрашающим ничем проходит их жизнь, пока корпорации губят планету.

Наша корпорация напоила несколько сотен отборных специалистов. И теперь они приставали, кто к кому, хотя большинство было в браке. Чувствовалось – приставали вхолостую, по инерции. Приятеля это убивало.

Мы с ним сидели под каким-то деревом. Дождь кончился.

Мне так много нужно было ему объяснить, и так плохо слушался язык, что я решила телепатировать:

*«Понимаешь, проблема в том, что мне никто неинтересен в этом смысле. Так вышло».*

*«Ты помнишь пубертат своих одноклассников? Ничего, кроме тошноты».*

*«А эти третьи, смешанные, которых сейчас хоть пруд пруди. Молодые люди неявно женского пола – эти особенно отпугивают своей одинокой всеядностью. Проклятое племя равнодушных. А ведь в действительности никто никого не волнует по-настоящему».*

Последнее сообщение, видимо, таки дошло до приятеля.

– Овощи! Только посмотри на них: никакого желая! Они же ничего не хотят и никого!

Он отошел еще налить, прислонив меня к дереву. Рядом лежал кто-то неразборчивый. Возле него курили медбратья из кареты скорой помощи. Наверное, просто спал.

Мимо шли и шли. Были и «смешанные». Совсем не похоже на Веру. Я приступила к монологу, адресуясь лежавшему на траве: *«Как их много, они повсюду: в фильмах, в книгах, на улице, на работе. Вера была совсем другая».*

Силы кончились, и я опять перешла на телепатию: *«Им хочется обнаружить себя, как будто это единственный шанс выделиться на фоне других, что тоже на пороге теток. Пишут рэп, преисполнены цинизма. Красят волосы, метят свои тела, что, как страницы соцсетей, раскрывает все по-*

*дробности их частной жизни, включая религию и имена бывших. Им просто больше повезло, чем тем, из Вериного дневника. Как же здорово, что им повезло! Будьте счастливы!»*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.